



АЛЕКСЕЙ НЕБОХОВ

ДЕЛО ОБ УКРАДЕННОЙ СКРЕПЕ

Алексей Небоходов

Дело об украденной скрепе

<https://litres.ru/74082001>

SelfPub; 2026

Аннотация

При внеплановой эксгумации могилы Гоголя в гробу обнаружены записки — пожелтевшие листки, пролежавшие рядом с мёртвым писателем сто семьдесят пять лет. Из них следует невозможное: он не сам жжёт рукопись. «Ревизор» был не вдохновением, а заданием. Женщина, которую он считал подругой, легла в его постель по приказу императора. А единственная, которую он любил, спрятала эти записки в гроб.

Двадцать один год — от блистательного Царского Села до холодной комнаты на Никитском бульваре. Пенсион, духовник, меценат — каждый думал, что помогает. Каждый вёл. Гоголь понял это слишком поздно.

Москва, наши дни. Филолог Кандинский и офицер ФСБ Мареев получают эти записки. То, что в них — невозможно осмыслить и опасно знать. А главное — Кандинский понимает: он сам внутри той же машины. Те же папки, те же кураторы. Разница — сто семьдесят пять лет. Методы — один в один.

Настоящее произведение является художественным вымыслом. В основу положены реальные исторические события.

Содержание

Глава 1. Где там мёртвые наши души?	4
Глава 2. Данилов монастырь	26
Глава 3. Версаль на Зацепе	50
Глава 4. Записки без имени	76
Глава 5. «Доставьте мне этого хохла»	97
Глава 6. Белая ночь	116
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Алексей Небоходов

Дело об украденной скрепе

Глава 1. Где там мёртвые наши души?

Кандинский медленно, считая ступени, поднялся по мраморной лестнице московского особняка князя Гагарина. На втором этаже под ногами поскрипывал паркет, положенный поверх старых досок — линолеум коридоров первого этажа сменился здесь чем-то более респектабельным. Внутреннее пространство здесь почти не изменилось за двести лет — те же лепные карнизы, потемневшие от времени, те же высокие окна с тяжёлыми шторами, приглушающими неяркий октябрьский свет до тёплого полумрака.

Институт мировой литературы занимал это здание уже более девяноста лет, но кладка была старше ещё на столетие. В этих комнатах когда-то принимали послов, решали судьбы крепостных, читали письма из Европы при свечах. Теперь здесь писали диссертации о Шекспире и подавали заявки на гранты. Кандинский знал здесь каждый коридор, каждый поворот, но сегодня здание казалось чужим — может быть, из-за вчерашнего звонка. Секретарь директора, назначая встре-

чу, говорила не обычным служебным тоном, а с осторожностью человека, передающего чужие слова.

Приёмная располагалась в угловой комнате с одним окном, выходившим во двор. Тамара Львовна сидела за столом, как сидела последние двадцать лет, — прямая спина, сжатые губы, одинаково официальный взгляд что для аспиранта, что для академика. При появлении Кандинского она подняла глаза от бумаг и кивнула в сторону двойной двери.

— Вас ждут, Николай Карлович. Уже минут двадцать.

Она произнесла это ровно, без упрёка, но Кандинский расслышал кое-что ещё. Так она говорила, когда за дверью сидел кто-то, перед кем директор вставал из-за стола.

Кандинский поправил очки и постучал. Голос изнутри — не директорский, незнакомый — пригласил войти. Он повернул медную ручку и шагнул в кабинет, где стоял запах нагретого дерева и сигарного дыма, въевшегося в обивку мебели.

Директор сидел в стороне от своего стола, у окна в кресле, которое обычно предназначалось для посетителей. Взгляд устремлён в сад, где октябрьские липы роняли последние листья на аллею, — поза человека, которого попросили присутствовать, но не решать.

У низкого столика в центре комнаты сидели двое. Первый поднялся при появлении Кандинского. Это был мужчина лет шестидесяти в дорогом костюме с галстуком цвета бургундского вина. Породистое лицо, тяжёлые веки — казалось, он

смотрит на собеседника чуть сверху, даже когда сидит. Кандинский узнал его сразу — Александр Владимирович Лудинский, бывший министр культуры, теперь — помощник президента по вопросам культурного наследия.

— Николай Карлович, — Лудинский протянул руку, но не улыбнулся. — Благодарю, что нашли время.

Второй поднялся чуть позже — подтянутый, в штатском, но выправка выдавала военное прошлое. На коленях у него лежала папка из чёрной кожи, которую он придерживал ладонью.

— Алексей Мареев, — представился он негромко, — капитан ФСБ, управление по защите конституционного строя.

Кандинский пожал протянутые руки. ФСБ, значит. Он остался стоять — никто не предложил сесть.

— Николай Карлович, — начал Лудинский, не теряя времени на любезности. — Приближается важная дата. Двадцать первое февраля следующего года — сто семьдесят пять лет со дня смерти Николая Васильевича Гоголя, — он помедлил, набирая вес для следующей фразы. — Великого русского писателя.

Кандинский ждал продолжения. Юбилей в их институте — дело обычное: конференции, сборники статей, торжественные заседания. Но для этого не понадобился бы сотрудник госбезопасности.

— Президент лично заинтересован в том, — продолжал Лудинский, чуть задержавшись на последнем слове, — что-

бы эта дата была отмечена достойно. Не формально. Содержательно.

За окном ветер качал ветви, и директор по-прежнему смотрел в сад.

— В чём, собственно, дело? — спросил Кандинский.

Лудинский достал из внутреннего кармана очки в тонкой оправе, надел их и посмотрел на Кандинского поверх стёкол.

— Второй том «Мёртвых душ», — сказал он. — Сожжённый Гоголем в феврале пятьдесят второго года. Что от него осталось?

— Черновики пяти глав, — ответил Кандинский автоматически. — Воспоминания современников о чтениях. Мемуарные свидетельства. Разрозненные фрагменты.

— Вот именно, — кивнул Лудинский. — Разрозненные. А что, если собрать всё воедино?

Кандинский начинал понимать, к чему клонит собеседник, и это ему не нравилось.

— Реконструкция утраченного текста — дело крайне сложное, — сказал он осторожно. — И ненадёжное. То, что получится, будет, скорее, стилизацией, чем...

— Великий русский писатель, — перебил Лудинский, и в его голосе появились интонации человека, цитирующего чужой текст, — хотел показать путь перерождения русской души. От пошлости и духовной смерти — к возрождению и просветлению. Этот замысел не должен быть утрачен.

Слово «скрепы» Лудинский не произнёс, но Кандинский

услышал отчётливо, что именно это имеется в виду. Духовные скрепы, традиционные ценности, великая русская литература как основа национального самосознания — весь этот новояз последних лет, превращавший Пушкина в государственного идеолога, а Достоевского — в проповедника православия и самодержавия, был на слуху.

— Ваша задача, — продолжал Лудинский, — собрать всё, что может помочь в реконструкции. Все черновики, все свидетельства, все архивные материалы. Свести воедино и попытаться восстановить замысел Гоголя в том виде, в каком он его задумывал.

Мареев во время этого разговора не произнёс ни слова. Сидел прямо, смотрел на Кандинского с выражением вежливого терпения. Но когда Лудинский произнёс «все архивные материалы», переложил папку с колен на столик, легонько хлопнув ею о столешницу — негромко, но так, чтобы Кандинский это заметил.

Кандинский взглянул на чёрную кожу папки, потом перевёл взгляд на Мареева. Тот едва заметно кивнул.

— У нас есть материалы, — сказал Мареев тихо, — которые могут оказаться полезными. Закрытые фонды. Документы, которые раньше исследователям не предоставлялись.

— Какие именно? — спросил Кандинский, хотя догадывался, что ответа не получит.

— Это мы обсудим позже, — сказал Мареев. — Отдельно. Лудинский поднялся и поправил галстук. Встреча подхо-

дила к концу.

— Николай Карлович, — сказал он, протягивая руку. — Надеюсь на ваше понимание. И на вашу помощь. Время у нас есть, но не слишком много. К февралю всё должно быть готово.

Он пожал руку Кандинскому, кивнул Марееву и вышел. Прозвучали удаляющиеся по коридору шаги — размеренные и уверенные.

Директор поднялся следом, не сразу, будто не был уверен, что разговор закончился. У двери задержался.

— Если понадобится что-то... Административная поддержка... Обращайтесь. Я буду в курсе.

Он вышел, прикрыв за собой дверь, и в кабинете остались двое. Кандинский по-прежнему стоял посреди комнаты, опустив руки вдоль бёдер. Мареев сидел в кресле, папка лежала на столике между ними.

Молчание затянулось. Отопление в старом доме работало неравномерно, и сейчас в кабинете было прохладно. Кандинский услышал собственное дыхание.

— Присаживайтесь, — сказал наконец Мареев, кивнув на кресло, которое освободил Лудинский.

Кандинский сел. Кожа сиденья была холодной. Мареев не торопился говорить, разглядывал его молча, без враждебности, но и без тепла.

— Вы понимаете, в чём дело? — спросил он.

Кандинский помолчал.

— В общих чертах, — ответил наконец.

Мареев ждал, не торопил.

— Вы готовы работать?

Кандинский опустил взгляд — на столик, на свои руки.

Он думал о черновиках пяти глав, которые никто не сводил воедино по-настоящему. О закрытых фондах, куда не пускали исследователей. О докторской, над которой бился четвёртый год.

— А если откажусь?

Мареев пожал плечами.

— Отказаться можно. Всегда можно. Только вопрос — что потом?

Он не угрожал — констатировал. Голос ровный, без нажима, голос человека, которому не нужно повышать тон, чтобы его правильно поняли.

— Что в папке? — спросил Кандинский.

Мареев положил ладонь на кожаную обложку.

— Начало, — сказал он. — Завтра, если согласитесь, покажу вам кое-что. Архив на Лубянке. Материалы, которые вас заинтересуют.

— Третье отделение?

— И не только.

Осенний свет из окна падал на кожаную обложку, и она тускло бликовала. Кандинский сидел и думал о Гоголе — о том, как тот получил от Уварова предложение, которое тоже, наверное, выглядело как помощь.

— Хорошо, — сказал он.

Мареев не кивнул, не улыбнулся. Достал из кармана визитку — простую, белую, только имя и телефон — и положил на столик.

Кандинский взял визитку, кивнул собеседнику, поднялся и пошёл к двери, не обернувшись на пороге.

Он спустился по ступеням особняка, держась за перила. Воздух на улице был сырым и холодным, пах мокрыми листьями и выхлопными газами. На Поварской стояла его машина — старый белый «Форд», купленный пять лет назад в кредит, который он выплачивал до сих пор. Кандинский достал ключи, отпер дверь и сел за руль.

Руки легли на руль привычно, пальцы сжались чуть сильнее, чем требовалось. Старая привычка, ещё тульская. Отец учил его водить на дачном жигулёнке летом девяносто восьмого, и первое, что говорил, — крепче держи руль, дорога может быть любой. Отец преподавал историю в школе номер тринадцать, мать работала в центральной детской библиотеке. Квартира на пятом этаже панельной девятиэтажки, книжные полки до потолка, запах старой бумаги и чая с вареньем по воскресеньям.

Кандинский завёл двигатель и тронулся. Москва сопровождала его стоп-сигналами на каждом перекрёстке. Камеры видеонаблюдения мигали на столбах. Мокрый асфальт отражал фонари и витрины, превращая улицы в размытые световые полосы.

Спешить было некуда — домой, в пустую квартиру, к книгам и тишине. За стеклом проплывала Москва конца двадцать шестого года: новые бизнес-центры впритык к сталинским домам, реклама банков на фасадах храмов. На тротуарах толпились туристы с селфи-палками.

В университет он поступил в две тысячи шестом — филологический факультет МГУ, русское отделение. Приехал из Тулы с двумя чемоданами и твёрдым убеждением, что Толстой важнее налогового кодекса. Общежитие на Стромынке, комната на четверых, ночные разговоры о Серебряном веке и споры о том, кого считать настоящим писателем.

Семинар по Гоголю вёл Владимир Иванович Захаров — старый профессор с седой бородкой и привычкой подолгу молчать между фразами. Третий курс, осенний семестр. Кандинский сидел в третьем ряду, записывал каждое слово и вдруг понял: Гоголь — это он сам. Провинциал, приехавший в столицу с надеждой, что здесь поймут. С привычкой подбирать нужное лицо под обстоятельства — на кафедре одно, в деканате другое, на конференции третье.

Захаров говорил тогда о письмах Гоголя — как тот описывал Петербург в зависимости от адресата: племяннику — город-праздник, Погодину — город-болото, а наедине с собой — молчал. Кандинский смотрел в окно аудитории на серый осенний двор и ловил себя на том, что у него так же: перед каждым собеседником он — другой человек, а между ними — непонятная пустота.

После семинара он подошёл к профессору и спросил, можно ли написать курсовую по «Ревизору». Захаров посмотрел на него внимательно и сказал: можно, но учти — Гоголь не прощает поверхностного чтения. Либо поймёшь, либо не поймёшь. Третьего не дано.

Кандинский понял — и курсовая переросла в дипломную, а дипломная в кандидатскую. В двадцать пять лет он защитился, в двадцать семь — женился на однокурснице Наталье, которая писала диссертацию о Тургеневе. Последовали четыре года брака, который развалился тихо и буднично — просто стало не о чем разговаривать, и молчание за ужином из случайного сделалось постоянным. Наталья ушла к коллеге из Пушкинского дома, забрала половину книг и кофеварку. Он помог ей упаковать книги — аккуратно, по алфавиту, как она любила. Кофеварку завернул в газету сам.

После развода — работа в ИМЛИ, монография «Поэтика масок в прозе Гоголя», репутация надёжного, но не блестящего исследователя. Человека, который напишет статью к сроку, выступит на конференции без эпатажа, возьмётся за любую архивную работу. Из тех, кого зовут в оргкомитет, но не на пленарный доклад, — рабочая лошадка института, привычная и удобная.

Кандинский свернул на Садовое кольцо. Светофоры здесь работали по-другому — длинные красные, короткие зелёные, как будто город намеренно заставлял стоять и ждать. Остановился у перекрёстка, посмотрел на часы. Половина

седьмого, пробки рассасывались, но медленно.

В квартиру в Хамовниках он въехал сразу после развода — однушка на втором этаже сталинского дома, высокие потолки, паркет, скрипевший в двух местах. Ипотека тянулась до сих пор. Книги вдоль всех стен — полное собрание сочинений Гоголя в разных изданиях, тома «Литературного наследства», диссертации коллег. Мебель минимальная — диван, письменный стол, кресло у окна.

Кандинский припарковался у подъезда, поднялся на второй этаж и открыл дверь. В квартире пахло книжной пылью и холодом — батареи ещё не включили, или включили, но слабо. Повесил пальто в прихожей, щёлкнул выключателем.

Лампа под зелёным абажуром на письменном столе осветила стопки папок и раскрытую книгу — Юрий Манн, «Поэтика Гоголя». Закладка на странице про маски. Теперь эта страница казалась наивной. Манн писал о литературных приёмах, о поэтике сокрытия авторского лица, но сегодня Кандинскому эта сокрытость виделась шире, чем стилистический приём.

Он подошёл к окну. Во дворе горели фонари, освещая пустую детскую площадку, мокрые скамейки, лужи на асфальте. Лудинский говорил уверенно, но говорил чужими словами, и это чувствовалось — так пересказывают доклад, прочитав только резюме. А Кандинский знал Гоголя не по цитатам из школьных учебников. Он снял очки, потёр переносицу.

Четыре года он изучал, как Гоголь прятал себя за чужими голосами, чужими лицами — и при этом создавал образы живых людей, которых Россия узнавала как соседей, как родню, как себя. Городничего. Чичикова. Плюшкина. И вот теперь его самого просят вложить в чужой текст чужие смыслы — присвоить то, что Гоголь уничтожил сознательно. Человека, который сжёг рукопись и перестал есть, предъявить стране как православного мыслителя с государственным заданием.

Мареев сказал: отказаться можно, всегда можно. Но что потом? Кандинский знал, что потом. Архивы закроются, статьи перестанут выходить, докторская повиснет в воздухе — защита отложится на неопределённый срок. В академическом мире это называется «утратить перспективу». В обычном — просто «конец карьеры».

А если согласиться? Увидеть архивы Третьего отделения, которые никто не видел, документы, способные перевернуть всё понимание Гоголя... И докторская, которая напишет себя сама, если материал окажется настоящим. Но за такие подарки всегда назначают цену.

Он надел очки. Руки лежали на подоконнике — узкие, с пятном от чернильной пасты на среднем пальце, руки, привыкшие к бумаге, а не к рукопожатиям в кабинетах.

Звонок в дверь прозвучал не громко, но резко. Кандинский вздрогнул. Часы на столе показывали без двадцати восемь. Он никого не ждал.

Прошёл в прихожую и заглянул в глазок. Лариса стояла на площадке в длинном шарфе, с пакетом в руке. Волосы растрепались, на щеках румянец от холода или от подъёма по лестнице. Она смотрела прямо в глазок, как будто знала, что по ту сторону двери стоят и смотрят.

Кандинский открыл. Лариса вошла, не дожидаясь приглашения.

— Привет, — сказала она, стягивая шарф. — Не разбудила?

— Нет.

— Хорошо. Ты обещал мне помочь с экзаменом. Забыл?

Она прошла в комнату, поставила пакет на стол — через прозрачный пластик виднелись йогурты и фрукты. Сняла куртку, повесила на спинку стула. Села на край стола, не касаясь ногами пола. Смотрела на него исподлобья, чуть склонив голову, — ждала.

— Ну что, — спросила наконец, — зачем вызывали?

Кандинский стоял в дверях. Он не приглашал её. Она пришла сама, как приходила последние полгода — без предупреждения, в любое время. Это началось в апреле, после конференции в Петербурге. Красивая девушка подошла к нему в курилке, спросила про одну цитату из «Шинели», разговорились. Через неделю пришла за консультацией по кандидатской. Ещё через неделю осталась на ночь.

Ей было двадцать три, ему — тридцать девять. Разница в шестнадцать лет казалась огромной, когда он об этом ду-

мал, и незаметной, когда не думал. Она писала диссертацию о женских образах в творчестве Тургенева, но интересовалась Гоголем больше, чем своей темой. Задавала вопросы, на которые он охотно отвечал. Слушала внимательно. В постели была быстрой и требовательной, без лишних слов. Уходила рано утром, не оставляя следов.

Кандинский подошёл к столу, достал из пакета яблоко, подержал, положил обратно.

— Налить чаю? — спросила она, вставая.

— Сам налью.

— Не надо.

Лариса прошла на кухню. Нашла чайник, наполнила свежей водой и, поставив на подставку, нажала кнопку. Достала две кружки из сушилки, вынула из шкафчика заварку. Стояла спиной к нему, не оборачиваясь.

— Ну так что? — повторила она свой вопрос. — Директор вызывал. Что случилось?

Кандинский сел на диван. Он не собирался рассказывать, но и молчать было трудно — Лариса оставалась единственным человеком, с кем можно было говорить о Гоголе без оглядки на регалии и субординацию.

— Мне поручили, — Кандинский поправил очки и помедлил, глядя на неё из комнаты через открытую дверь кухни, — восстановить второй том «Мёртвых душ».

Девушка обернулась. Чайник за спиной зашумел — вода начала закипать. Она смотрела на него с приоткрытым ртом,

и лицо у неё стало жадным — так студенты смотрят на чужую тему, которая лучше их собственной.

— Серьёзно? — сказала она тихо.

— Серьёзно.

— Как?

— Собрать все материалы. Черновики, воспоминания, архивные документы. Попытаться реконструировать текст.

— К какому сроку?

— К февралю. Годовщина смерти Гоголя.

Чайник щёлкнул и отключился. Лариса налила кипяток в кружки — в свою опустила пакетик, в его насыпала заварку прямо из пачки, без пакетика, много, как он любил. Принеся обе кружки в комнату, поставила одну перед Кандинским, вторую оставила себе. Села рядом на диван, близко, плечом к плечу.

— Это же докторская, — сказала она. — Готовая. Если ты это сделаешь...

— Знаю.

— Тебе откроют архивы?

— Обещали.

— Какие?

Кандинский взял кружку, подул на чай — заварка медленно опускалась на дно. Сказать про ФСБ он не мог, назвать имя Мареева — тоже. Условие не прозвучало вслух, но он понял его сразу.

— Закрытые фонды, — он отпил чай. — Больше не могу

рассказать.

Лариса кивнула — не обиделась, понимала, что есть вещи, о которых не говорят.

— А кто ещё в проекте?

— Пока никого. Только я.

Она отпила чай, поставив кружку на пол, повернулась и положила руку ему на колено. Пальцы тёплые, лёгкие.

— Коля, — сказала она, понизив голос до того полушёпота, которым обычно начинала разговоры о чужих открытиях, — это невероятно!

Девушка поцеловала его — быстро, почти по-деловому. Губы тёплые, вкус чая и мяты. Кандинский ответил, положив руку ей на затылок. Волосы мягкие, чуть влажные от уличной сырости.

Лариса отстранилась, посмотрев ему в глаза.

— Покажешь мне материалы? Когда начнёшь?

— Посмотрим.

— Я могу помочь. С черновиками, с расшифровкой.

— Посмотрим, — повторил он.

Она не настаивала. Поцеловала снова, дольше — руки скользнули под свитер, тёплые ладони на холодной коже. Кандинский закрыл глаза, чувствовал её дыхание, запах волос, тяжесть тела, прижимающегося к нему.

Оба не торопились — он стянул свитер через голову, она расстегнула рубашку, вместе справились с ремнём и молнией. Диван скрипнул. Лариса склонилась над ним, волосы

падали на лицо, глаза полузакрыты. Кандинский держал её за бёдра, ловил тепло и влажность, ритм, становящийся быстрее, но мысли его были не здесь — думал о папке, положенной Мареевым на столик, о том, что ждёт его на Лубянке, и о дате, которую никто не называл, но которую знал и так.

31 мая 1931 года. Эксгумация в Даниловом монастыре.

Он читал об этом в мемуарах Лидина. Ночное вскрытие могилы, керосиновые лампы, чекисты в кожанках, писатели-свидетели. Гроб подняли, открыли крышку. Внутри — кости, сгнивший сюртук, сапоги. Череп отсутствовал. Полковник НКВД продиктовал протокол, в котором значилось, что захоронение полное. Шестнадцать свидетелей подписали. Семнадцатая строка осталась пустой.

Кандинский открыл глаза. Лариса двигалась быстрее, дыхание сбилось, пальцы впились ему в плечи. Лицо напряжённое, сосредоточенное, отсутствующее — словно она была здесь, но не совсем. Как и он. Выдохнула резко, замерла и обмякла. Лежала не двигаясь, уткнувшись лицом в его плечо, волосы щекотали шею.

Дыхание медленно выравнивалось. Кандинский положил руку ей на спину — сердце под ладонью билось часто.

— Коля, — прошептала она, — это правда невероятно. Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Ты войдёшь в историю.

— Может быть.

Она подняла голову, посмотрев на него. Лицо расслабленное, тёплое, но взгляд уже трезвел — она прикидывала, как бы оказаться рядом, когда всё начнётся.

— Если понадобится, — произнесла она, — скажи. Хорошо?

— Хорошо.

Лариса поцеловала его в щёку и легла рядом, натянув простыню до плеч. Закрыла глаза.

Кандинский смотрел на неё. Про экзамен, ради которого пришла, девушка не вспомнила.

Он встал, накинул свитер. Письменный стол стоял в двух шагах от дивана. Сел, достал чистый лист бумаги и взял ручку. Написал дату: «31 мая 1931 года». Ниже — «Шестнадцать подписей. Семнадцатая строка пустая».

За спиной Лариса дышала ровно — уже спала или притворялась.

Завтра — встреча с Мареевым. Гоголь тоже сидел по ночам за столом и тоже, вероятно, убеждал себя, что делает правильное дело... Только у Гоголя хватило сил остановиться, а Кандинский пока не знал, хватит ли у него.

Он сложил лист пополам, потом ещё раз. Положил в ящик стола и закрыл на ключ. Затем выключил лампу. Сидел в темноте и смотрел в окно.

В архив ИМЛИ филолог пришёл в половине девятого. Попросив у вахтёра ключ, поднялся на второй этаж, прошёл по длинным коридорам в архивное крыло. Дверь, к его удивле-

нию, оказалась открытой. Кандинский вошёл, щёлкнул выключателем у двери, лампы дневного света мигнули и загудели. Запах был привычный: пыль, старая бумага, немного сырости из-за батарей, которые ещё не включили. Стеллажи вдоль стен, картонные коробки с инвентарными номерами, длинный стол посередине с двумя лампами на гибких ножках.

Мареев уже сидел за столом.

Кандинский остановился у двери. Папка из чёрной кожи лежала перед капитаном закрытой. Руки на столе — спокойно, расслаблено. Он смотрел на Кандинского молча — просто ждал, как ждут в приёмной, придя в помещение раньше хозяина.

— Не знал, что у вас есть пропуск, — сказал Кандинский.

— У меня всё есть, — ответил Мареев.

Кандинский снял пальто, повесил на крючок, подошёл к столу и сел напротив. Между ними — папка и лампа, которую никто не стал включать. За единственным окном — серое октябрьское небо, голые ветки с редкой последней листвой, кусок соседней крыши.

Кандинский заговорил первым. Голос вышел немного сиплым, и это раздражало.

— Я думаю, имеет смысл начать с перезахоронения тридцать первого года, — сказал он, стараясь держать ровный деловой тон. — Перенос останков Гоголя из Данилова монастыря на Новодевичье. Там могут быть следы, связанные с

утраченными рукописями. Документы, свидетельства, упоминания.

Мареев молчал. Молчал долго, и было заметно, что пауза привычная, рабочая — он так вёл разговор, давая собеседнику возможность сказать лишнее.

Потом кивнул и наклонился вперёд. Открыл папку. Кожаный переплёт тихо скрипнул. Внутри лежали аккуратно сложенные листы бумаги, верхний Николаю был виден не полностью — только край, пожелтевший, с машинописным текстом.

Офицер достал этот лист двумя пальцами и положил на стол лицом вверх, точно посередине между ними.

Кандинский не двигался.

Бумага пахла сыростью и пылью, той особенной канцелярской пылью, которая оседает на документах в железных шкафах. Пожелтевшая, с коричневатыми пятнами по краям — бумага просто состарилась, как старятся все архивные листы. Советский канцелярский формат. В правом верхнем углу — гриф красными чернилами, выцветшими почти до розового: «Совершенно секретно». Под грифом круглый штамп — текст угадывался по форме, но не читался, словно кто-то намеренно смазал его пальцем. Слева вверху — дата: 31 мая 1931 года.

Машинописный текст начинался сразу под датой. Шрифт старый, буквы неровные — печатная машинка с изношенной лентой. Кое-где литеры пропечатаны слабо, еле различимы,

кое-где, наоборот, слишком жирно, словно машинистка била по клавишам сильнее, чем требовалось. Строки шли ровно, с одинаковыми интервалами, под текстом — графы для подписей. Семнадцать строк. В шестнадцати стояли росчерки карандашом. Последняя пустовала.

Кандинский нахмурился. Он знал эту дату — читал о ней в мемуарах Лидина, в воспоминаниях Ильфа, в косвенных упоминаниях других свидетелей. Но одно дело — мемуары, изданные полвека спустя, полные литературных приукрашиваний и задним числом придуманных эмоций. И совсем другое — документ, оригинал. Бумага, которую держали в руках те, кто стоял у могилы. Текст, напечатанный сразу после вскрытия гроба и подписанный шестнадцатью свидетелями, чьи имена стояли в конце.

Он наклонился ближе. Дневной свет из окна падал на страницу под углом, из-за чего машинописные буквы казались выпуклыми. Заголовок: «Акт эксгумации останков Н. В. Гоголя», привязка ко времени и месту: «31 мая 1931 года, Даниловский монастырь, Москва». Следом шёл список присутствующих: представитель ОГПУ с именем и званием, представитель Моссовета, а также шестнадцать литераторов и деятелей культуры, приглашённых в качестве свидетелей, — Лидин, Всеволод Иванов, Леонов, Ильф и другие, перечисленные в столбик, каждый с подписью напротив фамилии.

Кандинский откинулся на стуле и потёр переносицу. До-

кумент лежал между ними, семнадцать строк, шестнадцать подписей, одна строка пустая. Лампы гудели над головой, и гул этот забивал тишину, делал её тяжёлой, давящей — молчать дальше было уже неудобно. Кандинский посмотрел на Мареева и решил попробовать. Сменил тон, заговорил легче, почти по-свойски — попытка нащупать общий язык до того, как начнётся работа.

— А вы слышали, кстати, легенду с черепом? — спросил он. — Коллекционер Бахрушин, палисандровый ларец, какой-то племянник с револьвером, потом итальянский капитан, потом поезд-призрак в тоннеле — череп якобы исчез где-то между Севастополем и Римом. Литературоведы пересказывают это друг другу на конференциях после третьего бокала. Красивая чепуха.

Он улыбнулся — краем рта, приглашая Мареева усмехнуться вместе с ним. Мареев не улыбнулся. Он смотрел на Кандинского ровно, без выражения, секунду, другую — ровно столько, чтобы улыбка филолога успела погаснуть сама, потом сказал:

— Знаю. Этим мы с вами завтра и займёмся.

Глава 2. Данилов монастырь

В архиве ФСБ пахло клеем и чем-то едва уловимым, химическим — так пахнут помещения, запечатанные на десятилетия и редко проветриваемые. Кандинский уловил этот запах ещё внизу, у вешалки с металлическими крючками, когда снимал пальто, и дальше запах только усиливался, пока Николай с Мареевым шли сквозь коридоры, посты проверки, поднимались в старом лифте с решётчатыми створками, которые приходилось тянуть на себя обеими руками.

Мареев шёл впереди, не оглядываясь. Капитан двигался по этим коридорам так, как сам Кандинский перемещался среди стеллажей ИМЛИ, — машинально, по памяти. На первом посту сверили документы, на втором литературовед расписался в журнале с жёсткой обложкой, а на третьем двое в штатском молча проводили их взглядом и ничего не спросили.

Женщина в тёмно-сером костюме ждала на третьем этаже — лицо неприметное, бейдж пустой, на запястье толстая цепочка с ключом. Она провела их по коридору, где двери стояли так тесно, что помещения за ними не могли быть большими. Остановилась у одной из них, дважды повернула ключ в скважине, не переступая порога, произнесла: «Три часа» и ушла, не дожидаясь ответа.

Кандинский вошёл и невольно выпрямился — в читаль-

ных залах ИМЛИ он привычно горбился над рукописями, а здесь тело само приняло другую осанку, как в кабинете ректора или на аттестации. Посередине стоял длинный металлический стол, привинченный к полу, а по обе стороны от него — два стула с жёсткими спинками, тоже привинченные. Трубчатая люминесцентная лампа тянулась вдоль потолка, заливая помещение плоским бесцветным светом, и от её непрекращающегося гудения начинало ломить в висках — тихо, исподволь, как от долгого пребывания под флуоресцентными лампами в метро. Ни окна, ни часов в комнате не было — только красный огонёк камеры мигал в верхнем углу дальней стены.

Столешницу покрывало зелёное сукно — гладкое, плотное, с отблеском пластика, больше похожее на линолеум, чем на ткань. Стены выкрашены в безликий серый цвет, казённый, одинаковый на всех этажах — такой бывает в районных военкоматах и паспортных столах. В отличие от читалок ИМЛИ, где к ноябрю пальцы немели над страницами от холода, здесь поддерживали ровную температуру — впрочем, ради бумаг, а не ради тех, кто с ними работал, судя по влажности и прохладе, привычным для архивного хранения.

Мареев прошёл к дальнему концу стола, сел и достал из портфеля чёрную кожаную папку. Двигался он скупно и точно, как хирург перед операцией, и Кандинский поймал себя на том, что наблюдает за куратором так, как привык наблюдать за архивными хранителями, отмечая про себя, как че-

ловек берёт лист — за край или за середину, хватает пальцами за переплёт или держит подшивку бережно.

Офицер раскрыл папку, вынул лист бумаги и положил на сукно — аккуратно, без спешки. Ладони легли по обе стороны от бумаги, открытые, неподвижные. Он смотрел на Николая и молчал — так молчит следователь, уже выложивший улику на стол и ждущий, пока допрашиваемый сам заговорит.

Лист был жёлтый, плотный, с водяными знаками, едва различимыми при неярком свете. В правом верхнем углу — выцветший штамп «Совершенно секретно». Ниже — заголовок: «Протокол эксгумации останков Н. В. Гоголя», а под ним дата: 31 мая 1931 года.

Вчера в ИМЛИ Мареев показывал ему другой документ — машинописный акт с шестнадцатью подписями свидетелей и пустой семнадцатой строкой, копию, тусклую, стёршуюся на сгибах. А теперь — рукописный оригинал. Кандинский наклонился ближе, не касаясь листа.

Текст был написан от руки, старомодным чётким почерком, без единой помарки — всего восемь строчек, чернила бурого оттенка, выцветшие неравномерно, как это бывает с железогалловыми составами прошлого века. Под текстом шли два столбца: слева список членов комиссии — имя, отчество, фамилия, должность, справа — автографы.

Гоголевед знал эти имена. Пётр Лидин, Всеволод Иванов — их воспоминания об эксгумации он читал ещё в аспиран-

туре. Ночь в Даниловом монастыре была описана неоднократно, хотя каждый очевидец помнил своё и умалчивал о чужом.

— Разрешите? — спросил он, не поднимая глаз от листа. Мареев кивнул, не меняя позы.

Кандинский взял документ обеими руками — осторожно, так, как берут ветхую рукопись, готовую рассыпаться от неверного движения. Бумага оказалась прохладной на ощупь, тонкой, но не хрупкой — текстура явственно ощущалась под подушечками пальцев. Свет лампы падал под прямым углом к листу, и чернила казались рельефными, словно нажим пера продавил бумагу насквозь.

Николай начал читать подписи вслух, но тихо, почти про себя, указательным пальцем ведя вдоль каждой строки, не касаясь поверхности документа.

— Пётр Лидин. Всеволод Иванов. Леонид Леонов. Илья Ильф...

Голос звучал глухо в замкнутом пространстве без окон, и казалось, что фамилии возвращались коротким эхом от стен. Некоторые подписи были разборчивы, другие превратились в стремительные небрежные росчерки — через девять лет чернила выцвели настолько, что отдельные автографы уже с трудом отличались от царапин на бумаге.

На шестнадцатой строке филолог остановился. Вернул палец к началу левого столбца и повёл снова, медленнее. В списке комиссии стояло семнадцать фамилий — чётко, раз-

борчиво, — а в правом столбце шестнадцать автографов и пустая строка.

Кандинский поднял глаза.

— Здесь не хватает одной подписи, — сказал он, указав на последнюю строку правого столбца. — Скружицкий. Лейтенант НКВД Иван Николаевич Скружицкий.

Куратор кивнул — лицо не дрогнуло, руки на сукне не шевельнулись. Он принял сказанное так, как принимают ожидаемый ход в шахматной партии — без паузы, без оценки, просто переходя к следующей позиции.

— Лейтенант Скружицкий, — повторил он ровным голосом, и непонятно было, спрашивает он или констатирует. — Вы знакомы с этим именем?

Литературовед покачал головой.

— Нет. В мемуарах Лидина, в записках Иванова, у других свидетелей эксгумации этого имени нет.

Мареев достал из портфеля ноутбук, открыл и набрал пароль — быстро, не глядя на клавиши, как набирают комбинации, заученные до автоматизма. Экран мигнул, принял данные, и на нём развернулось окно архивной базы. Пальцы офицера замерли над клавиатурой, гудение ламп заполняло тишину, а на казённом сукне между ними лежал жёлтый лист с семнадцатью именами и шестнадцатью подписями.

Мареев открыл базу данных — простой интерфейс, больше похожий на электронную таблицу, чем на современную систему, — и набрал в строке поиска: «Скружицкий И. Н.».

Пока куратор работал, Кандинский поднял протокол ближе к свету и вернулся к пустой строке внизу. Линия для подписи была проведена по линейке, ровно и старательно: кто-то готовил документ, зная, что семнадцатый член комиссии должен расписаться. Но росчерка не последовало, и линия осталась нетронутой — единственное пустое место на листе, заполненном именами. Бумага в этом месте пожелтела чуть сильнее, чем вокруг, — незаполненная строка бросалась в глаза, стоило присмотреться.

Мареев прокрутил результаты поиска, задержался взглядом на экране, прокрутил ещё раз. Лицо офицера застыло, желваки обозначились на скулах. Он закрыл ноутбук и сложил руки на столе.

— Мало информации, — сказал он. — Скружицкий Иван Николаевич, лейтенант НКВД, 1905 года рождения, уроженец деревни Светлое под Тулой. В органах с двадцать восьмого, — капитан сделал паузу, глядя на Кандинского и как бы давая ему время осознать сказанное. — Личное дело — очень короткое. Дата рождения, адрес семьи, и всё. Назначений нет, рапортов нет, наград нет. Отметка о пропаже без вести в июне тридцать первого — через неделю после эксгумации.

Кандинский помолчал — он всегда так делал, когда выстраивал мысль, чтобы не сказать лишнего. Личное дело с таким скудным набором сведений для офицера, прослужившего три года, означало одно — дело подчистили. Кто-то изъяс-

всё, что могло объяснить, почему лейтенант оказался в составе комиссии и почему исчез.

— Есть дочь, — добавил Мареев. — Ольга Ивановна Маркова, урождённая Скружицкая. Двадцать девятого года рождения, то есть сейчас ей за девяносто. Живёт под Тулой, в той же деревне. Одинокая, дети умерли.

Кандинский положил протокол на сукно и отклонился от стола. Перед ним вместо текстологической задачи вдруг обнаружилась задача другого рода — протокол эксгумации, пустая подпись, исчезновение. Офицер НКВД, который не расписался в документе и через неделю пропал без вести. Его двухлетняя дочь, выросшая в той же деревне. И документы, девяносто пять лет пролежавшие в архивных папках, которые кто-то из нынешнего начальства вздумал извлечь и показать штатскому гоголеведу.

— Вы хотите поехать к ней? — спросил Мареев ровным голосом, как будто речь шла о расписании электричек.

Кандинский кивнул, не задумываясь. Пустая строка в протоколе была единственной нитью, а Ольга Маркова — единственным живым человеком, который мог знать хоть что-нибудь об отце.

— Завтра в семь, — сказал куратор. — Я заеду за вами. Он достал из портфеля бланк с гербовой шапкой, заполнил от руки — номер дела, дата, гриф, основание для копирования — и подвинул Кандинскому. Литературовед расписался в графе «получатель», и Мареев кивнул на протокол.

— Сфотографируйте. Оригинал остаётся в фонде.

Кандинский достал телефон, сделал два снимка — общий и крупный план пустой строки, после чего капитан убрал бланк в папку, папку и ноутбук — в портфель, защёлкнул замок и поднялся. Двигался он размеренно, неспешно, каждый жест — аккуратный и точный, и портфель взял в левую руку, оставляя правую свободной, — Кандинский заметил это автоматически, по привычке наблюдателя.

Филолог тоже встал и двинулся за капитаном под гудение лампы. Красный огонёк камеры мигал в углу.

Протокол остался лежать на зелёном сукне — восемь строчек текста, семнадцать имён свидетелей, шестнадцать подписей. В памяти телефона Николая, убранного во внутренний карман пиджака, хранился снимок пустой строки, где девяносто пять лет назад кто-то отказался расписаться.

На следующий день машина Мареева стояла у подъезда ровно в семь. Капитану не пришлось ждать — Кандинский вышел, едва услышав звук мотора за окном. С утра моросило, тротуары блестели, и небо над крышами затянуло сплошной низкой облачностью, не обещавшей просвета. Литературовед поднял воротник пальто и сел на переднее сиденье «Лады Весты».

Мареев за рулём кивнул коротко, указав назад.

— Папка с материалами по Скружицкому на заднем сиденье. Пересядьте, если хотите читать.

Кандинский перебрался назад и открыл папку — тонкую,

картонную, без подписи. Внутри лежали три листа, распечатанные на обычной офисной бумаге, верхний содержал те же сведения, что Мареев перечислил вчера, — имя, дата рождения, место службы Скружицкого — ничего нового.

Машина тронулась плавно, без рывков. Капитан вёл аккуратно, не спеша и не включая радио. За окном потянулись серые московские улицы, ещё полупустые в этот час.

— Сколько ехать? — спросил Кандинский, перелистывая страницу.

— Два с половиной часа, — ответил Мареев. — Если без пробок.

Москва закончилась быстро — сначала за окном промелькнули спальные районы, потом промзоны, а за МКАДом потянулись равнинные поля, уходящие к низкому горизонту без единого холма. Урожай давно сняли, осталась стерня и редкие скирды соломы. Влажная дорога лоснилась тускло, а берёзовые рощи вдоль трассы стояли голые, опустошённые к октябрю — бледные стволы на фоне чёрной пахоты.

Кандинский читал личное дело Скружицкого, придерживая папку на коленях. Три страницы машинописного текста, скудного и казённого. Родился в 1905 году в деревне Светлое Тульской области. Церковно-приходская школа, три класса гимназии. В 1928-м призван в органы, трёхмесячные курсы, звание лейтенанта. Служба в Москве, в отделе по борьбе с антисоветскими элементами. Женат, семья в деревне под Тулой, живет в общежитии. И единственная запись об исчез-

новении — июнь тридцать первого года, через неделю после эксгумации.

Николай отложил бумаги и посмотрел в окно. Он привык исследовать жизни людей, от которых остались тексты — письма, черновики, дневники, любая рукопись, по которой можно восстановить характер и интонацию. От лейтенанта Скружицкого не осталось ни строчки — только казённые страницы, где вместо человека стояли пункты анкеты: год рождения, год призыва, год исчезновения, и ничего между ними — ни одного документа, написанного его собственной рукой.

Мареев не пытался заводить разговор. Вёл машину молча, сосредоточенно, и за полтора часа от Москвы они обменялись едва ли десятком фраз — дорога тянулась, однообразная, мокрая, и разговаривать не хотелось.

— Его искали? — спросил Кандинский наконец. — После исчезновения.

Куратор взглянул на него в зеркало заднего вида.

— В деле нет следственных материалов, — ответил Мареев. — Только отметка: пропал без вести.

Николай кивнул и закрыл папку. Отсутствие следственных материалов говорило о том же, что и тонкое личное дело: лейтенанта не искали, потому что искать было незачем — те, кто оставил отметку «пропал без вести», знали, куда он делся.

Они свернули с трассы на узкую гравийную дорогу, и ма-

шину начало подбрасывать на ухабах. По сторонам потянулись деревянные дома в разной степени обветшания, огороды с пожухлой ботвой, покосившиеся заборы. Показался и пропал закрытый магазин с заколоченным витринным окном, за ним — автобусная остановка с проломленной крышей, потом снова дома, приземистые, одинаковые, тихие. В воздухе пахло дымом и мокрой землёй.

— Скоро будем, — сказал Мареев.

Деревня Светлое оказалась именно такой, какой Кандинский представлял её по казённым страницам личного дела: несколько десятков дворов, ни одного нового строения, и ветер гулял по пустой улице, не встречая ни машин, ни людей. Дом Марковой стоял на боковой улице среди таких же деревянных построек — одноэтажный, с покатой крышей и маленькими окнами, ничем не отличающийся от соседних. Вдоль склонённого забора рядами торчали сухие коричневые стебли давно отцветших георгинов.

Мареев заглушил двигатель и вышел первым. Кандинский последовал за ним, прижимая папку к себе, и они прошли по узкой тропинке к крыльцу. Офицер постучал в дверь — дважды, негромко, потом, не дождавшись ответа, постучал снова. Внутри слышались медленные шаги, скрежет засова, и дверь открылась.

На пороге стояла миниатюрная старушка — худая, с запавшими щеками, одежда на ней висела так, словно под тканью почти нечему было держать её форму. Седые волосы

убраны в строгий узел, тёмное платье с высоким воротником застёгнуто до последней пуговицы. Выцветшие острые глаза прошлись по лицам обоих гостей цепко и быстро — так смотрят деревенские старухи на чужаков, появившихся без предупреждения.

— Ольга Ивановна Маркова? — спросил Мареев.

Старая женщина не ответила сразу. Взгляд её перешёл с офицера на Кандинского, задержался и вернулся к Марееву.

— Что вы хотите? — спросила она негромко, не отступая от двери.

— Мы из Москвы, — сказал Мареев ровным тоном. — По поручению Института мировой литературы. Исследуем архивные материалы, связанные с перезахоронением Гоголя в 1931 году. Имя вашего отца значится в протоколе.

Маркова несколько секунд молча изучала их лица, затем взгляд упал на обувь Кандинского, перешёл на папку в его руках, вернулся к глазам. После чего старушка отступила от двери.

— Входите.

В прихожей было темно. Кандинский шагнул в единственную жилую комнату и остановился — маленькая, с низким потолком, она пахла валокордином и застоявшимся воздухом помещения, которое редко проветривают в холодное время.

Железная кровать с белым покрывалом стояла у стены, рядом — комод с треснувшим зеркалом и телевизор на де-

ревянном табурете. В углу висела небольшая икона, под ней — огарок восковой свечи. Самодельные коврики из лоскутков покрывали половицы пёстрыми выцветшими полосами, а кружевные занавески рассеивали октябрьский свет, который ложился мягкими неровными пятнами на стенах.

Дочь лейтенанта Скружицкого указала гостям на два стула у круглого стола, покрытого клеёнкой с бледным узором, а сама опустилась в кресло у окна — спина прямая, руки на коленях, подбородок чуть приподнят, и поза эта выглядела настолько привычной, что кресло, казалось, хранило её отпечаток.

— Мне было два года, когда отец пропал, — сказала она. — Я его не помню. Знаю только то, что рассказала мать.

Голос её звучал ровно, слова ложились точно, одно к одному, и между предложениями повисали длинные паузы — Маркова говорила так, словно отвыкла разговаривать подолгу и каждую фразу взвешивала, прежде чем произнести.

— Пришли ночью, трое. Перевернули весь дом, даже подушки разрезали. Мать говорила — искали какие-то бумаги. Ничего не нашли, сказали, что отец — враг народа. Увезли, и больше мы его не видели.

Маркова помолчала, руки на коленях сжались и разжались — медленно, будто она разминала суставы. Потом заговорила тише, и Кандинский подался вперёд, чтобы расслышать. — Но перед этим, за неделю, он заехал к нам в деревню посреди ночи. Мать не спала, ждала его. Он сел на кухне и

сказал: они вскрыли гроб Гоголя и растащили кости по карманам. Как мародёры. А потом велели подписать бумагу, что всё в порядке. Все подписали. Он не подписал, — Маркова подняла глаза на Кандинского. — Мать запомнила каждое слово. Повторяла мне потом всю жизнь, как молитву.

Старая женщина замолчала и посмотрела на свои руки — узловатые, с распухшими суставами, пальцы загрубевшие, утолщённые в костяшках. На среднем пальце правой — простое обручальное кольцо без камня.

— Мать прятала его тетрадь под половицей в сенях, — продолжила Маркова после долгой паузы. Кандинский и Мареев молчали, боясь спугнуть рассказчицу. — Нашла я её после смерти матери, когда перебирала вещи. Блокнот в линейку, обложка покоробилась от сырости. Никто о нём не знал — ни соседи, ни я сама, пока не подняла ту доску.

Маркова поднялась, прошла в прихожую и вернулась с тетрадью в руках — небольшой блокнот с деформированной обложкой, потемневшей от времени и потёршейся по углам. Положила его на стол перед Кандинским без единого слова, отступила на шаг и вернулась в кресло, сложив руки на коленях прежним привычным жестом.

Литературовед несколько секунд не прикасался к блокноту — он всегда медлил перед незнакомой рукописью, давая себе время настроиться. Потом взял его и раскрыл первую страницу. Почерк был мелким и торопливым — карандаш, не чернила — почерк человека, который писал быстро, под

давлением, не для чужих глаз. Первая запись была датирована 31 мая 1931 года, а под датой стояла подпись, та, что отсутствовала в протоколе, — размашистая и уверенная: И. Скружицкий.

Кандинский склонился над страницей и в тишине комнаты, где старая женщина у окна молча смотрела на него — прямая, неподвижная, со сцепленными на коленях руками, начал читать.

Ночь выдалась тёплой, скорее июльской, чем майской, с тяжёлым, почти осязаемым воздухом, от которого гимнастёрка липла к спине. Над кладбищем стоял запах влажной земли, керосинового дыма и чего-то более древнего — холодного минерального дыхания, поднимавшегося из разрытой глины.

Лейтенант Скружицкий стоял поодаль от ямы — невысокий, худощавый, в новой гимнастёрке, воротник которой ещё не обмялся и чуть давил на шею. Пальцы его нервно сжимались и разжимались за спиной — он делал так с детства, когда волновался, и не мог отучиться, сколько ни пытался. Вокруг все были при деле, все знали, зачем пришли. Он тоже знал: ночная эксгумация, приказ сверху, подписи, отчёт — рутинная процедура.

Четыре керосиновых факела горели по углам раскопа, воткнутые в землю с армейской точностью, и пламя вспыхивало и опадало на лёгком ночном ветру, отбрасывая оранже-

вые пятна света на покосившиеся надгробия вокруг. Между могилами пробивались молодые побеги весенней крапивы, а железные кресты, накренившиеся от многолетнего запустения, торчали под странными углами среди прошлогодней травы.

Тени от фигур людей в свете низких факелов раскачивались, дотягиваясь до монастырских стен — серых, с облупившейся побелкой, и падали обратно к ногам рабочих. Те в брезентовых робах работали ломami молча, без разговоров — слышались только глухие удары по кирпичу через короткие паузы. Кладка поддавалась неохотно, осколки застывшего раствора летели на истоптанную землю.

Лейтенант посмотрел на часы — половина второго, стекло запотело от влаги, и циферблат был едва виден. За три года службы это была его первая ночная операция, ему поручили следить за порядком и за соблюдением протокола — самое простое, что можно было поручить.

Чуть в стороне от раскопа чернел Голгофский камень — надгробие Гоголя, уже отделённое от основания и сдвинутое, чтобы не мешать рабочим. Полковник Щукин стоял рядом с камнем, курил, держа папиросу между большим и указательным пальцем почти у самых губ. Затягивался глубоко, медленно, выдыхал через нос и не стряхивал пепел, пока тот не отваливался сам. Он был лет на пятнадцать старше лейтенанта — седина на висках, мешки под глазами, но спина прямая, плечи развёрнуты, сапоги начищены, несмотря на

ночь и грязь.

Щукин смотрел на раскоп, почти не моргая, и лицо его оставалось неподвижным — застывшим, землистым в свете факелов, будто он стоял здесь уже давно и собирался стоять ещё долго.

Рабочие наконец пробили свод. Самый молодой из них спустился вниз с фонарём, и свет заколыхался в темноте подземелья. Через минуту он подал знак, второй землекоп последовал за ним. Остальные остались наверху — кто опёрся на лом, кто снял фуражку и вытер лоб.

Скружицкий перевёл взгляд на группу людей, стоявших поодаль у старой липы, чуть в стороне от света. Литераторов — так их представил Щукин — было человек семь или восемь, все в тёмных пиджаках или летних пальто, воротники подняты. Лидин курил, не затягиваясь, глядя куда-то мимо могилы — в темноту между надгробиями. Ильф засунул руки глубоко в карманы, хотя ночь была тёплой, плечи приподняты, и подбородок втянут в воротник. Всеволод Иванов что-то тихо говорил соседу, не поворачивая головы. Лейтенант видел эти имена в газетах — фельетоны, романы, портреты в рамочках на четвёртой полосе. Теперь они стояли здесь, на чужом кладбище, и никто из них не смотрел друг на друга.

— Лейтенант, — позвал Щукин негромко. — Подойдите. Скружицкий подошёл, выпрямившись.

— Приказание есть?

— Нет, — полковник бросил окурок, раздавил каблуком.
— Посмотрите, что там.

Молодой офицер подошёл к краю раскопа и заглянул вниз. В свете фонарей рабочие снимали крышку с гроба — дерево прогнило за восемьдесят лет, и крышка поддалась не сразу, пришлось поддеть её ломami, осторожно, чтобы не повредить содержимое. Наконец они отставили её в сторону, и над раскопом повисла тишина — рабочие замерли, литераторы у липы подались вперёд, кто-то из них шагнул ближе к краю.

В гробу лежали кости. Истлевший сюртук — тёмно-коричневый, почти чёрный, с металлическими пуговицами, позеленевшими до цвета старой меди, — облегал скелет, сохранив очертания плеч и груди, хотя под ним уже нечему было держать. Грудная клетка провалилась внутрь, рёбра разошлись веером, руки лежали вдоль туловища — фаланги пальцев рассыпались, но пястные кости ещё держали подобие кисти. Сапоги сохранились лучше всего: кожа задубела и потрескалась, подошвы отошли и загнулись, как страницы намокшей книги.

Скружицкий смотрел на кости, и пальцы его за спиной сжались крепче. Мёртвых он видел, но те были недавними, понятными, ещё не успевшими стать историей. Эти кости пролежали здесь восемьдесят лет, улицы над ними переименовали дважды, а сюртук всё ещё держал форму плеч.

— Всё в порядке? — спросил Щукин, подходя к краю.

— Всё, товарищ полковник, — ответил один из рабочих.
— Можете смотреть.

Полковник спустился вниз, и лейтенант последовал за ним. Щукин наклонился над гробом, внимательно осмотрел останки, выпрямился и посмотрел на Скружицкого. Лицо полковника на секунду дёрнулось — рот приоткрылся, брови сошлись, — но он тут же выровнял выражение и заговорил обычным тоном.

— Черепа нет, — сказал он тихо, так, чтобы слышал только лейтенант.

Скружицкий наклонился ближе. На месте, где должен был лежать череп, оставались лишь мелкие кости, вероятно, шейные позвонки, и больше ничего.

— Что будем делать, товарищ полковник? — спросил он.

Щукин помолчал, глядя на останки. Потом обернулся к писарю, стоявшему наверху с блокнотом в руках.

— В протоколе записать, — сказал он ровным голосом, без интонации, — что череп был. Сохранился плохо, но был.

Писарь кивнул и сделал пометку, не поднимая глаз. Никто не переспросил, никто не посмотрел в сторону гроба — все приняли это так же молча, как принимали приказы на построении.

Скружицкий со Щукиным поднялись наверх, после чего полковник повернулся к литераторам и махнул рукой.

— Подходите. Берите что хотите на память.

Свидетели переглянулись. Некоторые покачали головой,

другие, напротив, оживились и начали спускаться в склеп один за другим, снимая перчатки, доставая носовые платки. Наклонялись над гробом, выбирали фрагменты — куски сюртука, рёбра, позвонки — и прятали в карманы, не глядя друг на друга, торопливо и деловито, как на распродаже.

Скружицкий стоял у края раскопа и смотрел. Внутри у него что-то сжалось и осело — он не мог бы подобрать слова, но ему было стыдно стоять здесь, и одновременно он был рад, что всего лишь стоит и смотрит, а не лезет в гроб за сувенирами.

Когда литераторы взяли что хотели, они поднялись и отошли к прежнему месту у липы, где стояли молча, держа руки в карманах, пряча лица в ночной тени. Щукин кивнул писарю, и тот подошёл к группе с блокнотом и карандашом.

— Подписи, — сказал писарь. — По кругу.

Блокнот пошёл по кругу — из рук в руки, от одного литератора к другому. Каждый брал его, читал написанное, подписывался и передавал дальше молча, не задерживая.

Наконец блокнот дошёл до Скружицкого. Лейтенант взял его и прочитал текст: «Протокол эксгумации останков Н. В. Гоголя. Дата: 31 мая 1931 года. Время: 1:30 ночи. Место: Даниловское кладбище, Москва». Далее перечислялся состав комиссии: семнадцать человек, включая его, лейтенанта НКВД Ивана Николаевича Скружицкого. Затем шло описание процедуры — разборка склепа, вскрытие гроба, осмотр останков. И посередине абзаца, чёрным по белому:

«Череп писателя сохранился удовлетворительно, обнаружены все зубные ряды».

Молодой офицер поднял глаза. Щукин смотрел на него спокойно, без нажима, и ждал — так ждут, когда младший по званию сообразит, чего от него хотят.

Скружицкий держал блокнот в руках. Страница была влажной от ночного воздуха — бумага размякла, потеплела от чужих ладоней, и буквы чуть расплылись по краям. Карандаш лежал у него в руке — он чувствовал его ребристую поверхность пальцами, короткий твёрдый предмет, которым достаточно черкнуть одну закорючку, и дело будет закрыто.

Лейтенант посмотрел на строчку про череп, потом поднял глаза — на начищенные сапоги полковника, загвазданные на носках грязью от раскопа, на его руки, сложенные за спиной... Рабочий у края раскопа опёрся на лом и глядел в сторону, в темноту между надгробиями. Факел у его ног догорал, пламя вытянулось, задрожало на ветерке — и снова выпрямилось. У одного из литераторов, стоявших поодаль, оттопыривался карман пальто — там лежало что-то твёрдое, угловатое. Никто не смотрел на Скружицкого — все были заняты своими руками, своими карманами, своим молчанием.

Он снова опустил взгляд на страницу блокнота. «Череп писателя сохранился удовлетворительно, обнаружены все зубные ряды». А он видел своими глазами шейные позвонки на пустом месте, рассыпавшиеся, как пуговицы с оборван-

ной нитки, и больше ничего. Он знал, что было на самом деле, и Щукин это знал, и писарь, и Лидин с оттопыренным карманом. Все знали, и все уже подписали — блокнот прошёл шестнадцать рук, и шестнадцать раз никто не сказал ни слова.

Скружицкий протянул блокнот обратно писарю — аккуратно, двумя руками, придерживая за корешок. Потом посмотрел на полковника.

— В протоколе ошибка, — сказал он, и голос вышел тише, чем он хотел. — Черепа не было.

Щукин не изменился в лице. Он сделал шаг вперёд, сократив расстояние между ними до вытянутой руки, и посмотрел лейтенанту прямо в глаза.

— Подумайте, лейтенант, — сказал он так же тихо. Помолчал и добавил: — Хорошенько подумайте.

Потом отвёл взгляд — медленно, по-хозяйски, как отворачиваются от подчинённого, которому только что объяснили всё, что нужно. Скружицкий стоял и чувствовал, как тишина вокруг загустела, и понимал, что разговор окончен — спорить больше не о чем.

Он вернул блокнот писарю без своей подписи и отошёл от раскопа в темноту, к монастырской стене, где свет догорающих факелов уже не доставал.

Кандинский поднял глаза от тетради. Последнюю страницу он перевернул, сам не заметив как. Внизу стояла дата, а

дальше — чистый край бумаги, обрез, пустота. 31 мая 1931 года, и дальше — ничего. Литературовед перечитал последнюю строку ещё раз: «Подумайте, лейтенант». Точка, и больше в тетради не было ни слова.

Маркова по-прежнему сидела в кресле у окна. Дочь лейтенанта не смотрела на тетрадь — она смотрела на Кандинского, и тот поймал её взгляд, не сразу отведя свой: глаза у неё были усталые, сухие, без слёз, и всё лицо как будто расправилось — распрямились морщины на лбу, опустились плечи, ослабли прежде сжатые пальцы на коленях.

За окном пошёл дождь — мелкий, ровный, затяжной потульски. Сухие стебли георгинов в палисаднике клонились под ним, пригибаясь к самой земле. На столе стояли стаканы с остывшим чаем, которые хозяйка принесла гостям, когда он начинал читать, — Кандинский к своему так и не притронулся.

Назад они ехали молча. Дождь усилился, дворники работали на второй скорости, и шоссе блестело в свете фар. Кандинский держал тетрадь на коленях, фотография лейтенанта лежала сверху. Мареев вёл машину, не отрывая глаз от дороги, и молчал так долго, что Кандинский решил: до Москвы тот не скажет ни слова. Но потом капитан заговорил, не поворачивая головы:

— Одна запись. Несколько страниц.

Пауза. Дворники прошли по стеклу и вернулись.

— Из-за одной записи в блокноте не приходят ночью

встроём и не режут подушки.

Глава 3. Версаль на Зацепе

Рабочая комната Кандинского в ИМЛИ походила на место, где время остановилось где-то между концом советской эпохи и началом чего-то, чему никто не удосужился дать название. Два письменных стола стояли под прямым углом друг к другу, заваленные ксерокопиями архивных листов, раскрытыми справочниками по некрополистике и стопками папок с выцветшими этикетками.

На подоконнике остывали два стакана чая, которые никто не убрал с утра, рядом стояла пепельница, хотя в институте не курили уже лет десять — но пепельницы в ИМЛИ не убирали, как не убирают памятники, утратившие первоначальный смысл. Батарея под окном работала неровно, с перебоями, то раскаляясь так, что от неё несло сухим жаром, то затихая надолго, и воздух в комнате был сухим, пыльным, пропитанным запахом старой бумаги и растворимого кофе — запахом, к которому привыкаешь за годы работы, уносишь его с собой на одежде и не замечаешь, пока кто-нибудь посторонний не спросит, чем это от тебя пахнет.

Николай сидел за дальним столом. Копия протокола перезахоронения останков Гоголя 1931 года лежала перед ним — тетрадный лист с шестнадцатью подписями и одной пустой строкой. Филолог не касался бумаги, только смотрел на неё, будто под шестнадцатью росписями пряталась семна-

дцатая, невидимая, оставленная не чернилами, а умолчанием. Мареев устроился напротив, ноутбук закрыт, руки сложены на столе — он мог так сидеть долго, ожидая, пока собеседник заговорит сам. За окном моросил дождь, не сильный, но упорный — тот московский октябрьский дождь, который идёт неделями и мало-помалу превращает город в размытое серое пятно.

— Итак, — произнёс Кандинский, поднимаясь и отходя к окну, — череп исчез до 1931 года. Скружицкий видел, что его не было в гробу, остальные тоже видели, но подписали ложный протокол.

Капли стекали по стеклу неровными дорожками, и за ними едва угадывались контуры соседнего здания — серого, блочного, построенного в семидесятые и с тех пор ни разу не знавшего ремонта. Николай стоял спиной к комнате, вглядываясь в этот пейзаж, и лицо его, бледно отражённое в стекле, было неподвижным, с залёгшей между бровей складкой.

— Значит, череп пропал раньше, — продолжил он, не оборачиваясь. — Вопрос — когда именно?

Литературовед вернулся к столу, но садиться не стал. Опершись руками о спинку стула, он смотрел на разложенные бумаги — ксерокопии, распечатки, выписки из мемуаров, которые делал в последние недели, — перебирал взглядом листы, останавливался на одном, возвращался к другому, но говорить не торопился.

— Бахрушин, — произнёс он наконец, тихо, будто прове-

ря, как прозвучит это имя в пустой комнате.

Мареев поднял взгляд, лицо его осталось непроницаемым, но глаза чуть сузились, собрав у висков мелкие морщинки — на секунду, не дольше, — и снова разгладились, ничего не выдав.

— Алексей Александрович Бахрушин, — продолжил Кандинский уже увереннее, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к самому себе, выстраивая цепочку. — Московский миллионер, театральный коллекционер, основатель Театрального музея. Умер в двадцать девятом, но до смерти успел собрать коллекцию, которая сейчас показалась бы музеем ужасов.

Николайн сел обратно, взял со стола тонкую книжку в потрепанном переплёте с пожелтевшими страницами — «Воспоминания о русском театре» Сергея Кара-Мурзы, издание шестидесятого года — и открыл на заложенной странице.

— Вот что пишет Кара-Мурза, — он начал цитировать, и голос приобрёл монотонную интонацию, чуть нараспев, с какой читают текст, знакомый давно и произносимый не один раз. — «В кабинете Алексея Александровича, рядом с портретом Островского, на бюро открыто стоял череп Щепкина. Гости вздрагивали, хозяин относился спокойно — для него великий актёр продолжал жить в этой кости». Понимаете? Череп Щепкина стоял на столе как пепельница.

Кандинский перевернул страницу и продолжил, чуть понизив голос:

— А дальше ещё интереснее. «Говорили, что у Бахрушина есть и другие подобные сокровища — кость руки Мочалова, прядь волос Садовского, даже зуб Комиссаржевской, который он выкупил у зубного врача...» Человек коллекционировал части мёртвых актёров.

Мареев слушал молча, не перебивая, едва заметно похлопывая пальцами по столу, словно он мысленно подшил услышанное в папку и захлопнул её, отправив в хранилище памяти.

— В тысяча девятьсот девятом, к столетию Гоголя, могилу на Даниловском кладбище реставрировали, — продолжал гоголевед, закрывая книгу и кладя её на стол рядом с протоколом. — Официально — привели в порядок, поменяли ограду, подправили памятник. Но ходили слухи, что рабочие вскрыли склеп. И что Бахрушин был там лично.

Кандинский помолчал, глядя на дождь за окном. Свет настольной лампы с зелёным абажуром ложился на разложенные бумаги — они выглядели мирно, по-вечернему — никак не вязались с разговором о вскрытых склепах и украденных костях.

— Говорили о палисандровом ларце со стеклянным окном, — сказал он, повернувшись к Марееву. — О серебряном венке вокруг черепа. Об особой комнате в доме на Лужнецкой, куда хозяин водил только самых близких друзей. Но это были слухи в коллекционерских кругах, пересказанные по третьему разу. Никто не проверял — не было смысла.

Он выдержал паузу, во время которой стало слышно, как за окном барабанит дождь по жестяному отливу, а потом добавил:

— Есть смысл проверить сейчас.

Капитан кивнул и открыл ноутбук. Экран засветился голубым. Кандинский подошёл ближе и встал чуть позади, хотя видеть интерфейс базы данных ему не полагалось, — стоял просто потому, что не мог отойти. Руки Мареева уверенно двигались по клавиатуре: фамилия, инициалы, временной фильтр — меньше минуты.

— Есть, — произнёс офицер вполголоса и повернулся к принтеру на столике в углу.

Принтер ожил, загудел, выплюнул лист, и Мареев положил его на стол между ними.

Кандинский наклонился над распечаткой. Машинописный текст с правками от руки, красный штамп «Секретно» в правом верхнем углу, подпись следователя — неразборчивая, с размашистым росчерком. Дата — 15 октября 1927 года. Заголовок: «Протокол допроса гражданина Бахрушина Алексея Александровича».

— За два года до смерти, — пробормотал филолог, скорее, себе, чем собеседнику.

И начал тихо читать, водя пальцем по строчкам:

— «Вопрос: Располагаете ли вы предметами, изъятыми с территории закрытых монастырей и кладбищ города Москвы? Ответ: Не понимаю вопроса. Вопрос: В вашей коллекции

имеются предметы, изъятые с кладбища Данилова монастыря в 1909 году? Ответ: Возможно. Не помню точно. Вопрос: Конкретизируйте. Ответ: Возможно, были бумаги. Документы какие-то. Больше не помню».

Кандинский оторвался от листа. Несколько секунд сидел молча, с выражением, которое появлялось у него всякий раз перед тем, как произнести что-то важное, — губы сжаты, взгляд направлен мимо собеседника, руки неподвижны. Потом поднял глаза на Мареева.

— Его допрашивали, — сказал литературовед негромко. — Значит, к тому времени они уже знали, что искать.

Капитан не ответил, скользил взглядом по экрану, прокручивая вниз, останавливаясь на отдельных строчках. Лицо его оставалось спокойным, взгляд — внимательным, как у человека, имеющего навык читать документы не ради содержания, а ради того, что содержание пытается скрыть.

— В том же фонде есть ещё один документ, — произнёс он после паузы. — Оперативная справка об изъятии. Год совпадает, но дата — более поздняя.

Кандинский смотрел на пожелтевший лист с казённым штампом и уклончивыми ответами человека, знавшего, что сказать всю правду означает не вернуться домой, и думал о том, что Бахрушин, сидя перед следователем в двадцать седьмом году, уже понимал: история, которую он хранил в палисандровом ларце, ему больше не принадлежит.

Принтер снова загудел. Мареев положил вторую распечат-

ку рядом с первой — ещё один штамп «Секретно», ещё одна дата: 3 ноября 1927 года, через три недели после допроса.

Кандинский взял лист в руки — осторожно, кончиками пальцев, привычным жестом текстолога, хотя перед ним лежала всего лишь распечатка из базы данных, а не ветхая рукопись.

«Справка по результатам обыска в доме гражданина Бахрушина А. А.», — прочитал он заголовок вслух и, помолчав, продолжил: — «По адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, произведён обыск в присутствии понятых. Изъято: 1) Палисандровый ларец с серебряными деталями — одна штука. 2) Документы разного содержания — сорок семь листов. 3) Предметы неустановленного происхождения — одна упаковка».

Филолог остановился на третьем пункте. «Предметы неустановленного происхождения — одна упаковка» — обтекаемая формулировка, за которой могло скрываться что угодно. Или всё, что они искали.

— Они нашли ларец, — произнёс он, не поднимая глаз. — Палисандровый. Как в слухах.

Мареев молчал. Капитан смотрел не на документы, а на Кандинского — наблюдал за ним в упор, не скрываясь, с тем выражением, которое появляется у оперативника, когда свидетель забывает контролировать лицо. В комнате было тихо, только равномерно шумел дождь за окном и где-то далеко, в каком-то кабинете стучали по клавиатуре — размеренно,

монотонно, будто кто-то набирал один и тот же текст уже не первый десяток лет.

Гоголевед перечитал справку медленнее, водя пальцем вдоль строк, потом положил её рядом с протоколом допроса и посмотрел на оба документа разом. Прошло три недели между допросом и обыском, между поставленными вопросами и ответами на эти вопросы, найденными уже без согласия хозяина. Бахрушин собирал части мёртвых знаменитостей, и за это у него забрали всё, что он собирал.

— Что с ним стало? — спросил Кандинский. — С Бахрушиным.

— Умер дома, — ответил Мареев коротко и замолчал, не считая нужным объяснять то, что следовало из дат. — Через полтора года после обыска. Двадцать девятый год.

Литературовед кивнул. У человека забрали коллекцию, допросили, перевернули дом — и отпустили. Формально он оставался свободен. Но Кандинский, последние недели живший среди архивных дел, уже понимал, что означала эта свобода: ожидание повторного визита, прислушивание к шагам на лестнице, бессонница, от которой не спасает ни коньяк, ни бром. Бахрушин протянул полтора года и умер у себя в кабинете, где на бюро стоял череп Щепкина, а место палисандрового ларца на полке оставалось пустым.

Кандинский откинулся на спинку стула и несколько секунд молчал, глядя вверх бумаг в угол комнаты, где на стене висел выгоревший план эвакуации при пожаре, — он все-

гда смотрел мимо, когда мысль ещё не сложилась. Дождь за окном шёл ровно и тихо, и в стенах что-то потрескивало: старое здание вбирало воду кирпичом и штукатуркой, отзываясь на непогоду, как отзывается на сырость плохо просушенная древесина. Хронология складывалась сама собой, и филолог видел её так же отчётливо, как видел палеографические особенности в чужой рукописи, — не усилием, а выучкой, набранной за годы.

Год 1909-й — реставрация могилы Гоголя к столетию, слухи о палисандровом ларце. 1927-й — допрос Бахрушина, обыск, изъятие. 1929-й — смерть коллекционера дома, в опустевшем кабинете. 1931-й — эксгумация, полупустой гроб, ложный протокол. Двадцать два года между первой и последней датой, за которые череп Гоголя прошёл путь от бюро театрального мецената до архива государственной безопасности — и дальше, в никуда.

Кандинский посмотрел на Мареева. Капитан сидел в прежней позе — руки на столе, лицо непроницаемое, но взгляд переместился с экрана ноутбука на Кандинского, словно тот наконец добрался до места, которого Мареев ждал с самого начала разговора.

Экипаж подъехал к воротам Данилова монастыря на рассвете, в тот час, когда майский воздух ещё хранил ночную прохладу, а солнце только поднялось над горизонтом, позолотив верхушки колоколен. Стояла весна 1909 года, и по

всей Москве шли приготовления к столетию со дня рождения Гоголя — юбилею, обсуждаемом городскими газетами с усердием, обратно пропорциональным тому вниманию, которое уделялось самой могиле великого писателя.

Алексей Александрович Бахрушин вышел из коляски, поправил светлые козловые перчатки и взял трость — не потому, что нуждался в опоре, а потому, что трость, как и перчатки, и лакированные штиблеты, составляла часть костюма, в котором он чувствовал себя хозяином любого помещения, куда входил. Коренастый, широкоплечий, с румяным выразительным лицом, он стоял у монастырских ворот так, будто ворота принадлежали ему — и кладбище за ними тоже, просто управляющий ещё не принёс ключи. Кучер получил указание не трогаться с места до особого распоряжения и остался ждать у ворот.

Над кладбищем стоял запах влажной глины и старого кирпича — сырой, тяжёлый дух заброшенной земли, прогретой только сверху, а внутри ещё холодной после зимы. Реставрационные работы начались неделю назад, официально — для приведения могилы великого писателя в надлежащий вид к юбилею, но Бахрушин знал цену подобным объяснениям. Кладбище выглядело запущенным: трава пробивалась между надгробиями, железные кресты покосились, дорожки заросли. Рабочие инструменты лежали у старой ограды — кирки, ломы, деревянные ящики для мусора, — сложенные аккуратно, по-хозяйски, но самих работников поблизости ещё

не было. Именно этого Алексей Александрович и добивался, когда три дня назад передал подрядчику конверт через общего знакомого. Конверт был толстый, и подрядчик не переспрашивал, на какое утро освободить площадку.

Могила Гоголя располагалась в глубине кладбища, под старыми липами, чьи молодые листья шелестели в утренней тишине. Надгробный камень потрескался, кирпичная кладка склепа была частично разобрана, обнажив старый раствор, который рабочие уже начали откалывать. Меценат подошёл ближе, склонил голову набок, прищурился — так он всегда смотрел на вещи, которые собирался приобрести, — и, опираясь на трость, заглянул в проём. Внизу, на глубине человеческого роста, виднелся деревянный гроб — простой, без украшений, потемневший от времени и сырости. Крышка была сдвинута, но не снята — рабочие, по-видимому, только начали осмотр, когда пришло время назначенного перерыва.

Из кустов появились двое мужчин в простой одежде, молчаливые ребята, нанятые через посредника, безымянные, из тех, кого берут для дела, а не для разговоров. Бахрушин не спрашивал их имён, когда нанимал, не собирался спрашивать и теперь. Один нёс верёвочную лестницу, другой — керосиновую лампу и холщовые мешки. Они переглянулись с коллекционером, получили молчаливый кивок и принялись за дело.

Первый спустился в склеп. Свет лампы заколыхался вни-

зу, отбрасывая подвижные тени на кирпичные стены, и оттуда потянуло чем-то сладковатым и древним — холодный минеральный запах, какой бывает у земли, пролежавшей нетронутой десятки лет. Через минуту рабочий подал знак наверх, и второй последовал за ним. Бахрушин остался на поверхности, но подошёл к краю раскопа и наклонился. При свете лампы было видно, как работяги осторожно, без спешки поднимают крышку гроба. Дерево поддалось не сразу — полувековая сырость сделала своё, и пришлось поддеть крышку ломом с двух сторон.

Когда гроб открылся, Бахрушин увидел сначала то, к чему был готов. Череп, жёлтый от времени, с тёмными провалами глазниц, слегка повернувшийся набок, словно мертвец задремал и устроился поудобнее. Истлевший сюртук, сохранивший форму плеч и груди. Металлические пуговицы, позеленевшие от влаги. Кости рук, аккуратно сложенные вдоль туловища. Сапоги, которые пережили плоть и ткань.

Но рядом с телом лежал свёрток. Он был втиснут между правым бортом гроба и остатками сюртука — плотно, намеренно — так, как кладут рядом с покойником вещь, которую не хотят отдавать живым. Шёлк, судя по фактуре, — края ткани не разошлись даже за полвека. Шнурок, которым свёрток был перевязан, когда-то был чёрным, а теперь выцвел до серого.

Бахрушин смотрел вниз, не произнося ни слова. Свёрток был небольшим — меньше, чем он ожидал, слишком ма-

лым для книги и слишком плотным для ткани. Коллекционер смотрел на него дольше, чем на череп, — пальцы на набалдашнике трости побелели, и если бы кто-нибудь из рабочих поднял голову, он бы увидел, что их наниматель забыл дышать.

Рабочие внизу ждали указаний. Алексей Александрович кивнул — коротко, без слов. Первым наверх подняли череп, завёрнутый в холщовый мешок, — он оказался легче, чем Бахрушин ожидал, и прохладнее — даже сквозь ткань чувствовалась его гладкая, полированная временем поверхность. Свёрток с бумагами потребовал особой осторожности — шёлк крошился под пальцами, и пришлось переложить всё в отдельный мешок, стараясь не потревожить содержимое.

Оба мешка меценат принял лично, не доверив никому. Положил в экипаж рядом с собой, прикрыл замшевой накидкой, велел кучеру ехать не торопясь, объезжая ухабы. Всю дорогу до Лужнецкой улицы не прибирал руку от свёртков.

Кабинет в особняке на Лужнецкой звали «Версалем на Зацепе», и прозвище было неслучайным. Стрельчатые готические своды поднимались над головой, бронзовая люстра мягко подсвечивала камень, а тяжёлые портьеры из тёмного бархата, ниспадавшие до пола, вбирали в себя каждый шорох. По стенам тянулись высокие витрины с театральными реликвиями: костюмы Щепкина, сатиновые отделки Садов-

ского, парики восемнадцатого века, программки из фондов, датированные временами ещё прадедов нынешних театралов. Сlepки лиц, локоны мёртвых актрис, посмертные маски — всё это стояло на комодах открыто, и домашние давно перестали вздрагивать, как перестают замечать обои, которые видишь каждое утро.

Воздух здесь пах пчелиным воском, старым бархатом и сухой пылью театральных костюмов, хранившихся за стеклом. Прошло несколько лет после той майской поездки в Данилов монастырь, но в кабинете ничего не изменилось — и не должно было измениться, потому что Бахрушин жил среди вещей, которые уже пережили своих хозяев, и считал, что после смерти владельца они только начинают жить по-настоящему.

У окна, на письменном бюро из красного дерева, покоился череп Щепкина в ажурной подставке из слоновой кости — открыто, без стекла, без завесы. Гость, переступивший порог впервые, непременно замечал его и замирал. Алексею Александровичу это нравилось. Он не видел в черепе мертвечины — для него это была реликвия, сродни автографу или сценическому костюму, только тяжелее в руке и ближе к тому, кем актёр был на самом деле.

Череп Гоголя занимал совсем иное место. Палисандровый ларец с отполированной крышкой и маленьким матовым оконцем стоял на нижней полке книжного шкафа, между томами Карамзина, и заметить его можно было лишь при вни-

мательном взгляде. Внутри, вокруг желтоватой кости, лежал серебряный венок — филигранная работа московского ювелира. Но мутное стекло прикрывало содержимое: чтобы разглядеть, нужно было наклониться вплотную и приложить ладонь к резному обрамлению.

Записки хранились в сейфе за портретом Островского. Коллекционер раскрыл их лишь однажды, в день, когда приехал домой. Мелкий, неровный почерк, бледные чернила, выцветшие почти до серого — буквы складывались в слова, которые никто не должен был прочесть, и, может быть, сам писавший хотел бы, чтобы они растворились в бумаге. Алексей Александрович не стал расшифровывать каждую строчку: для него важнее было само обладание фрагментом чужого прошлого. Он перевязал пожелтевшие листы новым красным шнурком, завернул в тонкий шёлк и отправил в дальний угол хранилища. Разницу между хранением и владением, между бережностью и присвоением он не различал — да и не с кем было об этом спорить.

Никому из гостей Бахрушин не показывал ни ларца, ни бумаг. В его коллекции были вещи для всеобщего восхищения — парики, костюмы, портреты — и были те, что предназначались одному ему. По вечерам, когда последние посетители расходились, хозяин дома приоткрывал дверцу шкафа, доставал ларец и ставил его рядом с черепом Щепкина на бюро. Свет лампы скользил по палисандру и по слоновой кости — два черепа на одном столе, но Щепкина видели все, а

о Гоголе знал только он, и от этого секрета содержимое ларца казалось ему тяжелее и драгоценнее другого экспоната.

Осенний вечер 1927 года опускался на Москву медленно. В кабинете на Лужнецкой горела единственная лампа под зелёным абажуром, та самая, что освещала бюро. Бахрушин сидел в кресле у камина, где потрескивали берёзовые поленья, и перебирал театральные программки — привычное занятие для его вечеров, когда город затихал.

За последние годы многое изменилось: старые названия улиц уступали место новым, привычные лица исчезали, а в театрах ставили пьесы, которые раньше никто бы не решился показать. Коллекционер приспосабливался к переменам осторожно, день за днём, стараясь не выделяться и не привлекать внимания к тому, чем владеет. Дом по-прежнему принимал гостей, только разговоры стали тише, а улыбки — осторожнее.

Алексей Александрович перелистывал программку «Дяди Вани» девяносто девятого года — премьеры у Станиславского, ветхая бумага, которой он дорожил не меньше, чем иным портретом, — когда услышал звонок. Негромкий, деликатный — два коротких звука. Прислуга уже ушла, и хозяин поднялся сам. В прихожей было прохладнее, чем в нагретом кабинете, пахло воском и сыростью — застарелой, глубокой, въевшейся в стены так прочно, что ни лето, ни тепло печей не могли её прогнать.

За дверью стоял мужчина в морской форме — не парадной, а обычной, служебной, тёмно-синей, с простыми пуговицами без позолоты. Среднего роста, плечи неширокие, но прямые. Лицо было пустым — на расстоянии это сходило за вежливость, но вблизи пустота проступала отчётливее, и от неё делалось не по себе. Светлые глаза — серые или голубые, в полумраке лестницы не различить — смотрели спокойно, без любопытства, без спешки. Короткая стрижка, выбритый затылок, руки без перчаток, с коротко остриженными ногтями. Запоминать было нечего — ни броши, ни перстня, ни шрама, — и Бахрушин подумал, что это неслучайно.

— Алексей Александрович Бахрушин? — спросил офицер. Голос был ровным и негромким, и по интонации нельзя было понять, спрашивает он или сверяется со списком.

— Да.

— Яновский. Могу войти?

Имя не сказало Бахрушину ничего, но отказать он не решился. В двадцать седьмом году морской офицер у порога мог означать многое, и почти все варианты были неприятными. Коллекционер отступил, пропуская гостя внутрь.

Яновский вошёл, снял фуражку и повесил её на крючок у двери — движение привычное, будто он бывал в этом доме раньше. Прошёл в кабинет, не дожидаясь приглашения, остановился посреди комнаты и оглядел убранство — быстро, по-хозяйски, задерживаясь взглядом на дверях и окнах — так оглядывают помещение перед тем, как в нём работать.

— Присаживайтесь, — сказал Бахрушин, указывая на кресло у камина.

Яновский сел — спина прямая, ноги вместе, руки на коленях. Не взглянул ни на череп Щепкина, ни на витрины с костюмами — смотрел только на хозяина дома.

Алексей Александрович опустил в своё привычное кресло напротив. Камин потрескивал между ними, отбрасывая неровные тени на стены.

— Николай Васильевич Гоголь, — произнёс Яновский, глядя в огонь, — был моим двоюродным дедом. По материнской линии.

Слова прозвучали просто, без нажима — информация, которую полагалось принять к сведению. Бахрушин смотрел на офицера и пытался понять, правда это или выдумка. Лицо визитёра оставалось таким же пустым, каким было в дверях, и эта неподвижность черт тревожила Бахрушина больше, чем тревожил бы открытый гнев или прямая угроза.

— Понимаю, — сказал Алексей Александрович осторожно, хотя не понимал ничего.

Яновский кивнул. Потом расстегнул кобуру на ремне — медленно, без резких движений — и достал револьвер. Положил его на столик между креслами так же спокойно, как кладут ключи или портсигар.

— Один патрон для вас, другой для меня, — сказал он, не меняя интонации, тем же ровным голосом, каким минуту назад назвал своё имя. — Выбор за вами, Алексей Алексан-

дрович.

Револьвер лежал на полированной поверхности — чёрный, тяжёлый, с матовым блеском металла. Барабан был закрыт, но Бахрушин не сомневался, что внутри действительно два патрона — ни больше, ни меньше.

Коллекционер смотрел на оружие и быстро, как привык считать в делах, прикидывал варианты. Можно отказать — но тогда офицер либо выстрелит, либо уйдёт и вернётся завтра с ордером, понятыми и людьми в кожанках. Он пришёл вечером, когда прислуга ушла. Значит, знал расписание, и обыск уже был назначен — или будет назначен, если разговор не состоится. Бахрушин умел считать быстрее, чем думал, и сейчас счёт был не в его пользу.

— Что вы хотите? — спросил он тихо.

— То, что принадлежит семье.

Яновский не уточнил, но уточнения и не требовалось. В доме было только два предмета, которые могли принадлежать семье Гоголя, и оба хранились в тех местах, куда хозяин прятал самое дорогое.

Алексей Александрович поднялся из кресла. Ноги затекли, и он на секунду замер, опершись о подлокотник. Потом подошёл к портрету Островского. Александр Николаевич с бородой, уложенной на грудь, смотрел с холста невозмутимо, — человек, которого при жизни никто не ставил перед подобным выбором. Бахрушин взялся за раму и повернул её на петлях. Замок набрал не сразу — пальцы дважды останавли-

вались на середине комбинации, которую знал наизусть двадцать лет.

Записки лежали на верхней полке, завёрнутые в вишнёвый шёлк, перевязанные красным шнурком. Меценат взял свёрток — лёгкий, почти невесомый, но под пальцами ощущалась шероховатость старой бумаги, и он подержал его чуть дольше, чем требовалось, прежде чем закрыть сейф.

Потом прошёл к книжному шкафу, где за томами Карамзина стоял палисандровый ларец. Достал его двумя руками — дерево было тёплым на ощупь. Через матовое оконце в крышке угадывались очертания серебряного венка и желтоватая кость.

Оба предмета Бахрушин поставил на столик рядом с револьвером — записки слева, ларец справа, оружие посередине.

Яновский встал, взял револьвер и убрал его в кобуру — тем же размеренным движением, каким доставал. Потом взял ларец в одну руку, записки в другую.

— Благодарю, — сказал он, глядя Бахрушину в глаза.

Слово прозвучало сухо — квитанция, а не благодарность. Офицер повернулся к выходу, дошёл до двери, снял фуражку с крючка и надел, поправив козырёк. Обернулся — коротко, словно проверяя, что ничего не оставил в этом доме.

— До свидания, Алексей Александрович.

Дверь закрылась тихо. Шаги за порогом затихли быстро — человек в морской форме растворился в октябрьской тем-

ноте так же бесследно, как и появился из ниоткуда.

Бахрушин стоял у открытого шкафа. Пустая полка, где минуту назад стоял ларец, казалась шире, чем была, — глаз всё возвращался к этому месту, не находил привычного силуэта и соскальзывал в пустоту. В кабинете стало тише, будто вместе с ларцом из комнаты ушёл какой-то звук, которого хозяин не замечал, пока тот не пропал. Алексей Александрович закрыл шкаф, повернул портрет Островского обратно на место, опустил в кресло и посмотрел на бюро, где на подставке из слоновой кости по-прежнему покоился череп Щепкина — единственный, который остался.

Комната в ИМЛИ выглядела так же, как утром, — те же стаканы, та же пепельница, тот же запах старой бумаги и тёплой батареи, — но Кандинский, вернувшись к столу после чтения протокола допроса и справки об обыске, смотрел на неё иначе: и протокол, и справка легли поверх утренних ксерокопий, как ложится новый слой поверх старого в археологическом раскопе.

Оба документа лежали рядом на столе. Мареев работал молча — открывал файлы на ноутбуке, сверял даты, проверял данные, а филолог не мешал и не торопил, давая капитану закончить. Наконец Мареев закрыл крышку ноутбука и посмотрел на Кандинского.

— Генеалоги проверили, — сказал он ровным голосом, без предисловий. — У Гоголя не было внучатых племянни-

ков с фамилией Яновский, ни в том поколении, ни в любом другом. Родословная изучена досконально — семья небольшая, связи прослеживаются. Никого с морским образованием, никого в чине капитана второго ранга.

Мареев говорил ровно, без нажима. Но Кандинский заметил, что капитан выдаёт сведения дозировано — факт, пауза, следующий факт, — и по этому ритму понял: вывод уже готов, Мареев просто ведёт его к этому выводу по ступеням.

— Человек, который пришёл к Бахрушину в двадцать седьмом году, назвался чужим именем, — продолжил капитан. — Агент ОГПУ под легендой. Настоящее имя неизвестно, в архивах — только кодовое обозначение. Операция по изъятию санкционирована на высоком уровне.

Кандинский кивнул, хотя кивок этот был, скорее, подтверждением собственной догадки, чем ответом собеседнику: нечто подобное он заподозрил сразу — слишком безупречен был визитёр, слишком точно знал, когда прислуга уйдёт и где что лежит. Но увидеть подтверждение своим догадкам на экране, в архивной базе — это было совсем другое ощущение, и от него по спине прошёл холодок.

— ОГПУ потом запустило дезинформацию, — сказал Мареев, откинувшись в кресле. — Яновский якобы передал череп итальянскому капитану Боргезе, тот перепоручил помощнику, помощник сел в поезд... — капитан помолчал, подбирая слова, — а поезд вошёл в тоннель и не вышел.

Гоголевед невольно усмехнулся — он узнал приём: леген-

да, которую легко пересказать за рюмкой, но которую невозможно проверить ни в одном архиве мира.

Потом усмешка погасла. Поезд-призрак, итальянский капитан, череп, исчезнувший между Севастополем и Римом — он сам рассказывал это Марееву в первый день, здесь, в этой комнате, как конференционный анекдот, как «красивую чепуху». А это была операция прикрытия, запущенная ОГПУ сто лет назад. И он, кандидат наук, специалист по Гоголю, двадцать лет носил чужую ложь как собственную эрудицию и не отличил дезинформацию от фольклора.

— Версия держалась десятилетиями, — добавил Мареев. — Удобно думать, что материалы где-то в Европе, в частных коллекциях, что это не наша ответственность и можно не искать.

Кандинский посмотрел на справку об обыске — на ту строку внизу, напечатанную мелким шрифтом, которую он заметил ещё до того, как углубился в протокол допроса. Но теперь она звучала иначе. «Бумаги, изъятые у гр. Бахрушина А. А. агентом по делу №... совместно с предметом (череп). Принадлежность не установлена». Три последних слова означали, что никто официально не связал изъятое с Гоголем, и материалы могли лежать в любом фонде, под любым номером, без имени автора — невидимые для тех, кто не знал, что искать.

— Они никуда не уезжали, — произнёс Мареев тихо. — Череп и записки в московском архиве, в фонде изъятых ма-

териалов, без имени, без атрибуции, под грифом — почти сто лет.

В комнате стало тихо. Взгляд Кандинского вернулся к справке, к слову «принадлежность», и мысль, которая формировалась исподволь, пока он читал допрос и разглядывал протокол обыска, наконец оформилась.

— Рядом с костями, — сказал он вслух, скорее, себе, чем Марееву. — Бахрушин нашёл бумаги в гробу, не в архиве, не в тайнике — в гробу, рядом с костями. Значит, их туда кто-то положил намеренно, кто-то, кто был рядом в последние дни или после смерти.

Мареев не перебивал и не торопил — сидел в прежней позе, и только глаза следили за Кандинским, как следят за стрелкой прибора, который вот-вот покажет результат.

— Синельникова, — сказал филолог тише, и имя прозвучало в пустой комнате как ответ на вопрос, который он задавал себе с того момента, как прочёл о свёртке в шёлке. — Мария Синельникова, двоюродная родственница Гоголя, последний человек в его жизни, которому он доверял, перед которым предстával без маски, — Кандинский помолчал, собираясь с мыслями. — Она умерла в девяносто втором и перед смертью сожгла их переписку — письма, которые хранила сорок лет, всё до последнего листа. Но, видимо, не всё.

Мареев слушал, внимательно глядя на Николая.

— Переписку она уничтожила, потому что переписка —

это двое, — продолжал Кандинский, и голос его звучал ровнее, увереннее, набирая ту убежденность, которая приходила к нему, когда последний фрагмент головоломки вставал в ряд. — Письма можно прочесть, истолковать, использовать против обоих. А записки — это то, что писал он один, его голос, без адресата, без свидетелей. Уничтожить их она не посмела, оставить на поверхности не решилась — дети, наследники, чужие глаза... И поэтому положила туда, где никто не станет искать: в гроб, к нему.

После этих слов Кандинский замолчал, и молчание повисло в комнате плотное, рабочее — обоим нужно было переварить сказанное. Капитан смотрел на Кандинского, чуть прищурившись, оценивая, как смотрят на инструмент, который оказался точнее, чем значилось в описании.

Потом Мареев встал, взял папку с документами и застегнул молнию. По нему было видно, что решение принято.

— Завтра едем на Лубянку, — сказал он, глядя Кандинскому в глаза. Это было не предложение — звучало так, как будто он уже позвонил и договорился о пропуске.

Где-то в подвалах на Большой Лубянке, среди тысяч картонных папок с выцветшими штампами, лежали бумаги, принадлежность которых не установлена, и человек, способный узнать гоголевский почерк по первой же строке, сидел в этой комнате и чувствовал, как пересохло в горле.

Мареев уже стоял у двери, когда обернулся.

— Этот фонд запрашивали дважды. В пятьдесят втором

и в восемьдесят четвёртом. Оба раза был отказ на уровне руководства.

Дверь закрылась. Кандинский сидел один и думал: кто-то уже искал эти записки — дважды за сто лет, и ему их не дали.

Глава 4. Записки без имени

Кандинский сидел за металлическим столом, привинченным к полу, и ждал. В комнате архива ФСБ не было окон, не было часов — только две люминесцентные лампы вдоль потолка. Бетонные крашенные стены, вдоль трёх из них — металлические стеллажи, папки из серо-коричневого картона с выцветшими чернилами на корешках — и запах, который литературовед уже ощущал при первом визите: влажный бетон, старая бумага и что-то слабо химическое, как в больничной палате. Здесь хранились дела, пережившие пять смен названия ведомства — от Третьего Отделения до ФСБ, и каждое переименование оставляло лишь другой штамп на старом картоне.

Камера наблюдения в верхнем углу стены напротив двери горела красным огоньком. Николай давно перестал обращать на неё внимание — так привыкают к тиканью часов в пустой квартире. Его больше занимало другое: третий день подряд Мареев уходил куда-то в глубину стеллажей и возвращался с новыми папками — всякий раз небрежно, будто нёс канцелярскую рутину, а содержимое оказывалось чем угодно, только не рутинной. За двадцать лет работы с архивами Кандинский привык к тому, что самые важные находки приходят в самой невзрачной упаковке. Но сегодня что-то было иначе. Капитан позвонил накануне вечером — не

написал, не передал через секретаря, а именно позвонил и сказал только: «Приезжайте к девяти. Есть материал».

Мареев появился в дверях с серой картонной папкой в руках. Нёс её осторожно, чуть отстранив от себя, — движение, которое выдавало не страх перед хрупкостью старой бумаги, а профессиональную привычку человека, приученного не оставлять следов на вещественных доказательствах. Коренастый, в гражданской рубашке с закатанными рукавами, он опустил папку на стол, сел напротив и замер с тем непроницаемым выражением терпения, которое Николай уже научился распознавать: капитан знал, что лежит внутри, и ждал реакции.

Кандинский посмотрел на обложку. Инвентарный номер в правом верхнем углу — выцветшие фиолетовые чернила, неровные цифры, оставленные рукой человека, которому часто приходилось писать в спешке. Стандартный гриф «Секретно» красным потускневшим штампом, под грифом — запись теми же чернилами: «Бумаги, изъятые у гр. Бахрушина А. А. агентом по делу №...» — и дальше номер, частично стёртый временем.

Взгляд литературоведа задержался на пометке в нижнем углу — другим почерком, другими чернилами, явно добавленной позже: «Предположительно обнаружены в захоронении, принадлежность не установлена». Три последних слова он перечитал дважды. «Принадлежность не установлена» — казённая формула, за которой стояло простое обстоятель-

ство: содержимое папки без малого век лежало в архиве без имени автора, без связи с конкретным человеком, как безымянное вещественное доказательство по делу, которое давно закрыли и, похоже, не собирались открывать заново.

Кандинский протянул руку и остановился, не касаясь картона. Почувствовал биение пульса в кончиках пальцев — так у него бывало перед важными находками, когда руки уже знают то, чего голова ещё не додумала. За двадцать лет он защитил кандидатскую на материале гоголевской переписки, прочёл тысячи рукописных страниц, атрибутировал десятки спорных автографов — и каждый раз перед первым прикосновением к неизвестному документу испытывал одно и то же: не волнение, а собранность, как хирург перед первым разрезом.

Тесёмки, перевязывавшие папку, когда-то были красными, теперь выцвели до грязно-розового. Узел был простой, без хитростей — потянул за конец, и они разошлись.

Внутри лежала стопка листов — не несколько, а много, плотно уложенных один на другой. Листы были разного формата: большие и поменьше, сложенные и развёрнутые, с ровными краями и с оборванными. Кто-то когда-то выровнял их по нижнему краю и больше не трогал. Бумага пожелтела до цвета старой слоновой кости — неравномерно, с коричневатыми пятнами по краям. Чернила держались: тёмно-коричневые, на вид почти чёрные, хотя когда-то были, вероятно, обычными синими. Время изменило цвет, но не стёрло

написанного.

Кандинский взял верхний листок двумя руками и поднёс к свету. Бумага оказалась прохладной на ощупь, тонкой, но достаточно плотной, чтобы не рваться от движения. Под лампой стали видны мельчайшие детали — борозды от пера, микроскопические капли чернил, брызнувшие от спешки, два зачёркнутых слова, перечёркнутых не грубо, а аккуратно, одной чертой, и поверх — новые, вписанные тем же пером.

Почерк был мелким, нервным. Буквы шли неровными строчками — то поднимались, то опускались, словно писавший торопился или работал при плохом освещении. Заглавные «М» и «Н» имели характерные длинные завитки, которые иногда пересекались с соседними словами. Нажим неровный — где-то жирнее, где-то бледнее, перо то и дело обмакивали в чернильницу.

Николай не читал — пока только изучал манеру письма. За двадцать лет он научился видеть в почерке то, что видит криминалист в отпечатках: наклон букв — левый, но не крутой, соединения — некоторые традиционные, некоторые упрощённые, личные варианты, вырабатываемые годами. Но были и другие детали, те, которые заметит только специалист по рукописям: характерное подчёркивание снизу у буквы «ш», петля «р», чуть сдвинутая влево, манера ставить над «ё» не две точки, а одну длинную черту. Мелочи, незаметные при обычном чтении, но выдающие руку писавшего так

же безошибочно, как голос — говорящего. Литературовед видел эти особенности тысячи раз — в письмах, в черновиках, в рукописях, над которыми просидел всю свою научную жизнь.

Мареев сидел спокойно и ждал, не задавая вопросов. Он понимал, что происходит, — эксперт устанавливает авторство, и торопить его сейчас означало получить поверхностное заключение вместо точного. Со стороны — двое мужчин за привинченным столом разбирают архивное дело, ничего особенного. Но Кандинский уже знал — и по пульсу в кончиках пальцев, и по тому, как перехватило дыхание при взгляде на завиток заглавной «Н», что обыденного здесь не осталось ничего.

Он отложил первый листок и взял второй — один из квадратных. Почерк принадлежал той же руке, но бумага была плотнее, с еле заметными линейками, как в записной книжке. Чернила чуть светлее, нажим ровнее. Между написанием первого и второго листка прошло время, и что-то в состоянии писавшего изменилось — волнение улеглось, или сменился повод для письма, или просто горело другое освещение и под рукой оказался другой стол.

...Последний листок — клочок с оторванным краем — содержал всего несколько строк. Буквы крупнее обычного, нажим сильный, человек торопился записать что-то важное, пока мысль не ускользнула. Часть последнего слова в нижней строке отсутствовала — бумагу оторвали неровно, и по-

следние буквы ушли вместе с обрывком.

Кандинский вернул листок в стопку и выровнял его по нижнему краю — так же, как он лежал в папке. Потом положил ладони на металлическую поверхность стола по обе стороны от стопки, не касаясь бумаги. Смотрел на верхний листок — на ритм строчек, на то, как чернила ложились на пожелтевшую бумагу... Прошла минута, потом ещё одна. Литературовед не листал записки, не сравнивал их с чем-то — просто смотрел, и пауза становилась осязаемой.

Мареев напротив не двигался, не покашливал — ждал. За три дня совместной работы в этом подвале капитан усвоил одно правило: когда специалист замолкает надолго, значит, происходит самое важное.

Кандинский поднял глаза от документов. Провёл ладонью по столу рядом со стопкой — медленно, без цели, как делают люди, которым нужно время, чтобы облечь уверенность в слова. За двадцать лет работы с рукописями он научился распознавать руку писавшего не по совокупности признаков, а сразу — так узнают голос знакомого человека в толпе, по первому слогу, ещё до того, как разум успевает назвать имя. Он видел этот почерк тысячи раз — в письмах к Плетнёву, в черновиках «Мёртвых душ» из Российской государственной библиотеки, в записках к Аксакову, в каждом автографе, который прошёл через его руки за годы работы над кандидатской. Он знал эту руку лучше собственной.

Гоголевед аккуратно, без спешки закрыл папку. Положил

её на стол между собой и Мареевым. Посмотрел капитану прямо в глаза.

— Это Гоголь, — сказал он негромко, без волнения, как констатируют факт, в котором нет сомнений.

Два слова прозвучали и повисли между ними — простые и обычные, за которыми стояло то, чего не мог предвидеть ни один из сидящих за привинченным столом.

Мареев наконец шевельнулся, наклонившись вперёд.

— Откуда такая уверенность? — спросил он.

В голосе не было скептицизма — только естественная потребность в обосновании. Капитан работал с фактами, с документами, которые можно проверить. Слова специалиста для него были версией, а не истиной.

Кандинский взял верхний листок снова и подвинул к собеседнику. Указательный палец завис над бумагой, не касаясь её.

— Вот, — сказал он, и палец опустился на строку посередине листа, указывая на слово «должен». — Буква «д». Хвост уходит вниз длинной петлёй, загибается влево, почти касается предыдущей буквы. Это не каллиграфия — это привычка, въевшаяся в руку за годы.

Мареев подался вперёд, вглядываясь. Буква была написана мелко, и при беглом взгляде ничем не выделялась — обычная строчная «д». Но литературовед уже перевернул листок, нашёл ещё одну, потом ещё — и в каждом случае буква была написана одинаково, с тем же наклоном, с той

же петлёй. Не все люди пишут «д» одинаково, но этот человек писал именно так, в каждом слове, на каждой странице — потому что так научился в детстве и больше не менял почерк.

Палец филолога переместился к концу абзаца.

— А вот это, — сказал Кандинский, — точка.

Она была поставлена с заметным нажимом. Чернила легли плотнее, бумага слегка продавлена — не небрежная капля с пера, а осознанное усилие: законченная мысль требовала законченного знака.

— Гоголь ставил точку именно так, — произнёс гоголевед тише, чем обычно. — В каждом известном автографе. Как печать. Я видел это в сотнях документов.

Он достал ещё несколько листков и разложил их на столе. Страницы разного формата, написанные в разное время, разными чернилами, но все несли одни и те же следы одной руки. Точки с нажимом. Буква «д» с длинным хвостом. И ещё одна деталь.

— Переносы, — сказал Кандинский, указывая на середину строки второго листка.

Слово «обстоятельство» было разорвано пополам — «обстоят-ельство» — не там, где полагалось по правилам, а там, где кончилось место. Рука устала, перо остановилось, и писавший перенёс остаток на следующую строку, не задумываясь о слогеделении, — так переносят люди, которые пишут много, быстро и для себя.

— Этот же нестандартный перенос встречается в черновиках «Мёртвых душ», — продолжал литературовед. — В письмах к Плетнёву. В записках к Аксакову. Не один признак — система признаков.

Он говорил негромко, методично переходя от детали к детали, с той взвешенной точностью формулировок, которая появлялась у него всегда, когда предмет был бесспорным. Но за профессиональной ровностью голоса пряталось то, чего Мареев не мог увидеть и что сам Кандинский ещё не вполне осознал: эти записки не были похожи ни на что из прежде известного. Не письма — у писем есть адресат, дата, подпись. Не черновики — в черновиках есть замысел, план, литературная работа. Это было другое: обрывочное, личное, без обращения и без конца. Мысли, образы, признания — написанные рукой человека, у которого, как считалось полтора века, дневника не существовало.

Филолог замолчал. На столе перед ним лежали пожелтевшие листки, и люминесцентные лампы гудели над ними ровно и безразлично, как гудели, вероятно, все десятилетия, пока эти страницы лежали в серой картонной папке без имени автора, без связи с конкретным человеком, — просто вещественное доказательство по давно закрытому делу. Красный огонёк камеры в верхнем углу стены горел и записывал — так же равномерно, не отделяя важного от пустого.

Можно подделать отдельную букву, скопировать общий стиль, — но нельзя воспроизвести сотню мелочей, которые

складываются в индивидуальную манеру письма.

Мареев слушал, подавшись чуть вперёд, — глаза двигались туда, куда указывал палец литературоведа. Капитан смотрел на точки, на переносы, на завитки букв не как дилетант, которому объясняют непонятное, а как профессионал, проверяющий версию коллеги. В его работе тоже приходилось устанавливать авторство документов, и цену экспертизы почерка он знал.

— Перед нами не один признак и не два, — сказал Кандинский, выравнивая края стопку. — Система микроэлементов, которую невозможно подделать случайно. Наклон, нажим, ритм, соединения, манера ставить знаки препинания. Неповторимый отпечаток руки.

Офицер откинулся на спинку стула, как человек, получивший исчерпывающий ответ. Несколько секунд он молча смотрел на Кандинского, и в этом взгляде филолог впервые увидел нечто, похожее на уважение, — короткое и сдержанное, как всё у Мареева.

Потом капитан перевёл глаза на папку и коротко кивнул.

Кандинский понял: версия принята. Дальнейшая работа будет строиться на том, что в папке лежат подлинные автографы Гоголя. Серая картонная папка с выцветшим грифом «Секретно» только что перестала быть безымянным объектом из фонда изъятых материалов и превратилась в то, чему ещё предстояло найти название.

Гоголевед принялся перебирать листки снова — теперь не

изучая почерк, а наблюдая за тем, как организован текст, какую форму принимают мысли на странице. Привычка вырабаталась за годы: сначала структура, потом содержание, сначала понять, что перед тобой, потом читать написанное. И чем дольше он всматривался, тем яснее проступало несоответствие, которое не давало ему покоя с первого листка.

Записки не походили ни на что из известного гоголевского наследия. Не письма — нет обращений в начале, нет подписей, нет дат в правом верхнем углу. Не черновики прозы — ни зачёркнутых вариантов, ни заметок на полях, ни стрелок, перемещающих абзацы, ни набросанных между строк сюжетных схем. Не деловые бумаги — ничего похожего на официальный слог девятнадцатого века. Перед ним лежало что-то иное: мысли, записанные в тот момент, когда они ещё не успели оформиться в точные слова, обрывающиеся там, где обрывалось дыхание. Несколько строк плотного текста, потом пустое место — писавший останавливался, обдумывал написанное, потом принимался за новую мысль. Одни листки содержали по два-три абзаца. Другие были исписаны сплошь, без полей, — бумага заканчивалась, а слова не кончались.

— Гоголь дневника не вёл, — произнёс Кандинский вслух, и голос прозвучал так, будто литературовед проговаривал задачу самому себе. — Это аксиома, записанная в каждом академическом издании, начиная с Шенрока. Никаких систематических записей для себя. Только письма и черно-

вики произведений.

Он взял ещё один листок, посмотрел на него, потом на следующий. Структура повторялась — короткие записи, разделённые пустотами, мысли, зафиксированные без связи друг с другом. Каждый лист подтверждал то, чего не могло быть.

— Как тогда это объяснить? — спросил Мареев.

Вопрос прозвучал просто, без подтекста. Капитан не то-ропил, не подсказывал — ждал.

Кандинский ответил не сразу. Отложил листки, устремив взгляд куда-то мимо стеллажей — так он всегда делал, когда выстраивал в голове сложную цепочку, и Мареев за три дня совместной работы уже привык к этим паузам, понимая, что в молчании филолога рождаются выводы.

— Мария Синельникова, — сказал он наконец.

Имя повисло между ними, и несколько секунд ни один не произносил ни слова. Потом Кандинский заговорил — медленно, проверяя каждое звено рассуждения.

— Единственный человек, которому Гоголь доверял в последние годы. Она пережила его на сорок лет, и перед смертью уничтожила их переписку — об этом есть свидетельства. Сожгла письма, которые хранила без малого полвека. Убрала следы.

Мареев слушал, не перебивая. Лицо оставалось непроницаемым, но пальцы на столе чуть сжались — едва заметно, и если бы Николай не научился за эти дни читать скупую же-

стикуляцию куратора, он бы этого не уловил.

— Но самое важное она не уничтожила, — продолжил Кандинский, и голос его стал увереннее. — Спрятала. Не в доме, не в сейфе, не в тайнике. Она положила записки в гроб — в феврале пятьдесят второго года, когда приехала проститься с умершим. Она не знала, что произойдёт потом. Просто хотела, чтобы осталось хоть что-то настоящее. Не для современников — для тех, кто когда-нибудь сможет понять.

Литературовед замолчал. Капитан тоже не произнёс ни слова. Под потолком гудели лампы, красный огонёк камеры горел ровно и безразлично, а между двумя мужчинами, сидевшими за привинченным столом, лежала серая картонная папка, в которой почти два века молчал голос, адресованный потомкам.

Февральский вечер в конце зимы 1852 года опускался на Москву рано — солнце садилось за крыши уже в четыре, и в гостиной особняка на Пречистенке зажигали свечи. Мария Николаевна Синельникова сидела в кресле у окна, вышивая — работа тонкая, для церкви, белыми нитками по полотну цвета слоновой кости. В комнате пахло воском и розовым маслом, которым натирали мебель, и ещё чем-то едва уловимым — запахом зимы, проникающим сквозь рамы.

На круглом столике рядом с креслом лежало нераскрытое приглашение — плотная бумага с золотым обрезом, адрес

выведен каллиграфическим почерком. Музыкальный вечер у княгини Волконской, завтра, в восемь. Помещица собиралась идти — зимний сезон в Москве был короток, и каждый вечер имел значение. Собиралась на этой неделе заехать и к нему на Никитский бульвар — к Николаю Васильевичу, который жил там у графа Толстого уже второй год. Не спешила, откладывала, как откладывают визиты, в которых уверены: человек никуда не денется, будет ждать.

Горничная вошла без стука — у неё была привычка ходить бесшумно, и Мария часто не слышала шагов по ковру. Встала в дверях, руки сложены на белом фартуке, лицо серьёзное — как бывает у прислуги, когда приходится сообщать то, что изменит день.

— Барыня, — сказала она негромко, — приехал человек от графа Толстого. Сказать велел: Николай Васильевич помер. Нынче утром.

Слова дошли не сразу. Мария слышала каждое — отдельно, чётко, — но смысл складывался медленно, словно между слухом и пониманием стояла стена, которую нужно было преодолеть усилием воли. Николай Васильевич. Помер. Нынче утром. Три коротких сообщения, означавших, что мир изменился, пока она сидела у окна с вышивкой.

Пяльцы выпали из рук — не бросила, пальцы разжались сами, и полотно с наполовину вышитыми лилиями упало на ковёр. Мария смотрела на горничную и не понимала, почему та продолжает стоять, почему ждёт ответа на слова, на кото-

рые нельзя ответить.

Попыталась встать — ноги подогнулись, и пришлось схватиться за подлокотник. Постояла мгновение, держась за дерево, потом опустилась обратно. Тонкие руки, привычные к хозяйству, легли на колени — руки, которые девять месяцев назад, во Власовке, в темноте нащупывали его лицо, сжимали его плечи, не отпускали. Теперь они лежали неподвижно на тёмной шерсти платья, и казалось невозможным, что когда-то они что-то значили для живого человека.

Часы на камине отбивали секунды. Каждый удар отделял время, когда он был жив, от времени, когда его не стало. Мария Николаевна сидела неподвижно, глядя на ковёр, где лежали пальцы с недошитой лилией.

Горничная не двигалась. Стояла в дверях, ожидая приказания — что ответить посланцу, готовить ли траурное платье, подавать ли карету. Мария была не из тех, кто плачет при прислуге. Лицо, которое привыкло не скрывать чувства, сейчас окаменело — и это стоило ей больше, чем слёзы.

— Скажи, что я приеду, — произнесла она негромко, не поднимая глаз от ковра. — К вечеру. Пусть передаст графу.

Горничная кивнула и исчезла так же беззвучно, как появилась. Мария осталась одна в гостиной, где догорали свечи и пахло воском, смешанным с розовым маслом. За окном февральские сумерки превращали белый снег во дворе в серые пятна, а жёлтые окна соседних домов — в далёкие огни.

Она сидела, пока часы не пробили пять. Потом встала —

медленно, как встают после долгой болезни, когда каждое движение требует усилия. Прошла через гостиную в спальню, где у окна стоял дорожный сундучок — небольшой, обитый кожей, с медными уголками и замком, ключ от которого она всегда носила на цепочке у пояса.

Сундучок ездил с ней между Москвой и Власовкой каждый год — весной в деревню, осенью обратно. В нём лежали вещи, которые нельзя было оставлять без присмотра: драгоценности, деньги, документы на имение. И ещё кое-что, о чём не знала даже горничная, укладывавшая и разбиравшая поклажу дважды в год.

Мария открыла замок, подняла крышку. Под бархатной подкладкой тёмно-синего цвета был потайной отсек — неглубокий, но достаточный для нескольких сложенных листов. Она нащупала край подкладки, подняла её и достала свёрток — стопку листов, сложенных вчетверо, с неровными краями, ещё не пожелтевших, бумага выглядела свежей, будто написанной вчера.

Он отдал их ей в последний день во Власовке, в мае прошлого года. Молча, без объяснений — просто положил на стол между чашками с остывшим чаем и отвернулся к окну. Она взяла, не спрашивая, — между ними объяснения были не нужны. Только потом, уже в Москве, перебирая листки осенними вечерами, Мария поняла: он отдал ей не просто записи. Он отдал то, что не показывал никому — ни Аксакову, ни Жуковскому, ни Толстому, ни даже матери. Голос,

которым никогда не говорил вслух. И отдал молча, в последний день, как отдают вещи перед дорогой, из которой не собираются вернуться.

Бумаги она спрятала в сундучок и больше не доставала, только иногда, поздними вечерами, когда в доме стояла тишина, проверяла — на месте ли, не отсырели ли.

Теперь листки лежали у неё на ладони — лёгкие, и бумага хранила прохладу потайного отсека. Мария развернула один, не читая — только посмотрела на почерк, мелкий, торопливый, нервный, выдающий руку человека, которому не хватало времени на все мысли, теснившиеся в голове.

Она завернула листки в шёлковый платок — белый, с каймой, церковный, воскресный. Перевязала чёрным шнурком от нательного креста, который снимала только для купания. Свёрток умещался в ладони, но Мария Николаевна держала его обеими руками, не торопясь отпустить.

Два дня она не выходила из дома. На второй день всё же поехала на Никитский бульвар — как обещала. Граф Толстой принял её в кабинете на первом этаже, где пахло холодной штукатуркой и выдержанной древесиной. Говорил долго, негромко — о последних неделях, о посте, о том, что Николай Васильевич сам не захотел врача. Мария слушала, сидела прямо, кивала в нужных местах. Потом попросила побыть с ним наедине. Толстой помолчал — и вышел.

Она сидела у гроба недолго. Не молилась, не плакала — просто сидела, и тишина комнаты, где зелёный ковёр погло-

щал шаги, а на письменном столе маленький портрет Пушкина смотрел в пустоту, была единственным, что ей сейчас требовалось.

На третий день оделась молча — тёмно-серое платье, чёрная шаль, перчатки, шляпка с небольшой чёрной вуалью. Горничная подала шубку, тоже тёмную, соболью. Мария накинула её на плечи, спрятала свёрток в муфту и вышла.

Извозчик ждал у ворот — знакомый, возивший её по Москве всю зиму. Сани чистые, полсти тёплые, лошадь — сытая гнедая, знавшая каждый переулок между Пречистенкой и Университетом. Мария Николаевна села, укрылась пледом и негромко сказала: «К университетской церкви».

Москва в конце зимы пятьдесят второго года темнела рано. Сани скользили по утопанному снегу, полозья шуршали, колокольчик под дугой звенел протяжно и глухо. Мария Николаевна не смотрела по сторонам — деревянные дома с резными наличниками, каменные особняки, церкви с золотыми куполами, отражавшие последний свет февральского дня, проплывали мимо, не задевая сознания. Муфта лежала на коленях, и помещица держала её обеими руками, чувствуя сквозь мех твёрдость свёртка.

Изредка встречались другие сани с кучерами в тулупах, попадались пешеходы — купцы в поддёвках, студенты в тонких пальто, торопившиеся по морозным улицам. Для них это был обычный февральский день, они не знали того, что знала она.

Университетская церковь стояла в глубине двора, за невысокой оградой. Народу было много, несмотря на поздний час и мороз — родственники, друзья, студенты, которые хотели проститься с писателем. Люди входили и выходили, и от их дыхания у входа висело облако пара.

Мария вошла и остановилась у задних рядов. Внутри было тепло — множество свечей, множество людей, древние стены, хранившие тепло лучше новых построек. Пахло ладаном, воском, зимними шубами и тяжестью людского горя, от которого воздух делается гуще.

Гроб стоял посреди церкви, на катафалке, обитом чёрным бархатом. Крышка была открыта. Вокруг — венки, цветы, свечи в высоких подсвечниках, отбрасывавшие неровный свет на лица тех, кто проходил мимо. Кто-то крестился, кто-то стоял молча, кто-то шептал молитвы. Синельникова не подошла ближе — стояла в стороне, держа муфту двумя руками, и ждала момента, когда рядом с катафалком никого не будет, когда можно будет сделать задуманное, не привлекая внимания.

Прошёл час, потом ещё полчаса. Народ не убывал — приходили те, кто не успел днём, студенты после лекций, чиновники после службы. Свечи оплывали, церковнослужители меняли их на новые. Мария Николаевна стояла терпеливо, как стоят в церкви люди, привычные к долгим службам, — прямо, неподвижно, и лицо, осунувшееся от горестного чувства, было спрятано под вуалью.

Наконец поздний час и холод на дворе сделали своё — церковь почти опустела. Помещица подошла к катафалку не торопясь, как подходят все, кто хочет проститься. Остановилась рядом с гробом и посмотрела на лицо, которое знала живым.

Лавровый венок лежал на его голове — зелёный, свежий, сплетённый по всем правилам античной традиции. В сложенных на груди руках — букет иммортелей, цветов, которые не вянут и не осыпаются. Сюртук новый, чёрный, с шёлковыми лацканами — надевал его при жизни редко, берёг для торжественных случаев. Лицо было неподвижным и чужим, и только длинный нос с горбинкой и тонкие губы, сжатые привычной складкой, напоминали человека, который девять месяцев назад отвернулся к окну, положив перед ней на стол между чашками свою тайну.

Мария огляделась. В церкви оставались только служители — священник в алтаре, дьячок у свечного ящика, старуха, мывшая пол в дальнем углу. Никто не смотрел в сторону дамы в тёмно-сером, стоявшей у катафалка.

Она достала свёрток из муфты — осторожно, чтобы не зашуршал шёлк. Наклонилась над гробом, делая вид, что поправляет цветы в его руках. Просунула свёрток между правым бортом и сюртуком — плотно, намеренно втискивая пальцами в узкое пространство, чтобы не сдвинулся, чтобы не упал, чтобы остался там, где она его положила.

Коснулась его руки — холодной, восковой, неживой. Не

той, которая девять месяцев назад пожимала её пальцы во Власовке. Перекрестилась. Постояла, глядя на лицо человека, который доверил ей свои сокровенные мысли, а теперь унесёт их с собой в могилу.

Отошла от катафалка медленно, как отходят все, кто закончил прощание. У выхода обернулась. Гроб стоял посреди церкви в свете догорающих свечей, и лавровый венок на голове покойного казался не зелёным, а чёрным — свечи оплыли, и тени заполняли пространство между венками и стенами.

Мария Николаевна вышла в февральскую ночь и больше не оборачивалась.

Кандинский поднял глаза от последней страницы и вернулся к стопке на столе. Он взял первый листок — тот, что побольше, сложенный вдвое, развернул и начал читать. Его взгляд остановился на третьей строке. Записка была не о Власовке, не о последних днях. Почерк тот же — но моложе, увереннее, без нервной дрожи поздних лет. Чернила другие — не коричневые, а чёрные, густые. Там стояло слово, от которого у Кандинского похолодело в груди: «Царское Село». Записки относились не к пятидесятым годам. Они начинались за двадцать лет до смерти. И то, что было там написано, переворачивало всё, что он знал о Гоголе до сих пор.

Глава 5. «Доставьте мне этого хохла»

Мареев работал в архиве третий день подряд, и читальный зал успел стать привычным — так привыкают к чужой квартире, где всё кажется не на своих местах, но уже понятно, где что лежит. Металлические стеллажи уходили в полумрак, куда почти не достигал свет потолочных ламп. Батареи работали на полную мощность, от сухости першило в горле, но капитан давно не обращал внимания на подобные мелочи. Восемь лет службы научили его важному правилу: неудобства не исчезают, если на них жаловаться, — они исчезают, если о них забыть.

Длинный стол с лампой под зелёным абажуром служил рабочим местом. Серые картонные коробки с трафаретными номерами лежали ровными стопками, и каждая содержала фрагмент чьей-то судьбы, сведённый к учётной карточке. Мареев не искал рукописей и черновиков — ему нужен был контекст: живые люди вокруг Гоголя, те, через кого на писателя можно было влиять. Влияние всегда шло через людей, не через книги — этому учили на первом курсе Академии, и за годы оперативной работы офицер не встретил ни одного исключения.

Пальцы методично скользили по корешкам папок. Каж-

дая единица хранения имела свой номер, своё место в системе, выстроенной за два века. Сначала Третье отделение, потом Охранка, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ — ведомства сменяли друг друга, изобретая собственные принципы учёта, и теперь каталог напоминал геологический срез, где каждый пласт говорил на своём языке. Капитан знал логику каждого периода и умел читать эти наслоения так же уверенно, как Кандинский читал гоголевские черновики.

Имя Смирновой-Россет всплывало в картотеке регулярно. Александра Осиповна Смирнова, урождённая Россет — фрейлина императорского двора, хозяйка литературного салона, ближайшая знакомая Гоголя. В переписке писателя её имя встречалось чаще любого другого женского, и уже одно это привлекало профессиональное внимание — женщине, которая знала Гоголя настолько близко, неизбежно было что-то известно и о тех, кто его контролировал.

Опубликованные «Записки» Смирновой офицер изучил ещё при подготовке к проекту. Обычная мемуарная проза девятнадцатого века — воспоминания о встречах с великими людьми, салонные анекдоты, литературные портреты современников. Текст, прошедший через руки дочери-редактора и советских цензоров, — гладкий, причёсанный, лишённый острых углов.

Но в описи фонда значилась отдельная единица хранения, и Мареев зацепился за неё с первого взгляда. «Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Рукопись. Подлинник.

Не публиковалась». Три последних слова перевешивали все остальные. Существовал текст, которого не касались ни дочь, ни редакторы, ни цензура, — подлинный голос, не приведённый в соответствие ни с чьей версией событий.

Капитан поднялся, прошёл к дальнему стеллажу, где хранились материалы девятнадцатого века. Номер дела запомнился сразу — такие вещи оседали в памяти сами, без усилий, как номера автомобилей на оперативных выездах. Нужная папка лежала между документами по делам «народовольцев» и перепиской членов группы «Освобождение труда» — хронологический порядок соблюдался здесь с педантичностью, которой позавидовал бы любой немецкий архивариус.

Папка оказалась толще ожидаемого. Не тонкая тетрадь, а солидный том — добрая сотня страниц рукописного текста. Мареев раскрыл обложку осторожно, придерживая корешок ладонью, чтобы не треснул старый переплёт.

На первой странице стояло заглавие тем же почерком, что и основной текст: «Записки о моей жизни и о людях, которых я знала». Ниже — подпись: «А. Смирнова», и дата: «1872 год». За десять лет до смерти мемуаристки, в возрасте, когда будущего остаётся мало, и люди решаются наконец записать то, о чём всю жизнь молчали.

Бумага пожелтела до цвета старой слоновой кости, но чернила почти не выцвели. Водяные знаки на листах указывали на дорогую писчую бумагу — не канцелярскую, а ту, ко-

торуую покупали для важных писем. Строки шли ровно, с широкими полями, без единой помарки — либо Смирнова обладала редкой способностью формулировать мысли сразу набело, либо, что вероятнее, аккуратно переписала более ранний черновик.

Офицер перелистнул несколько страниц, пока не читая, только оценивая объём и сохранность. В середине рукописи стиль менялся: буквы мельчали, строки шли теснее, поля сужались. Будто автор вдруг осознала, что бумага не бесконечна, а сказать нужно ещё многое. Мареев знал этот феномен по протоколам допросов — когда человек приближается к опасному месту, рука непроизвольно зажимается, буквы теряют округлость, а слова теснятся в строке. Смирнова-Россет показаний не давала, но реагировала похоже: чувствовалось приближение к правде, которую страшно произнести вслух.

Капитан закрыл папку. Предварительный осмотр дал достаточно: подлинная рукопись, автограф женщины, которая лично знала Гоголя и могла рассказать о нём то, что не вошло ни в одни мемуары. Такие документы не читают на ходу, у стеллажа, при скверном освещении. Для них нужен стол, лампа и тот человек, который способен понять написанное.

Мареев вернулся к рабочему месту, положил папку точно под свет лампы и развязал тесёмки. Начал читать — медленно, делая для себя заметки, как читают бумаги, способные изменить ход дела. Архивная тишина располагала к этому:

здесь никто не торопил и не подгонял, время здесь вообще текло иначе, измеряясь не часами, а количеством перевёрнутых страниц.

Рукопись начиналась с детства автора, с описания петербургского общества тридцатых годов, с портретов людей, чья история давно поместила в учебники. Мареев пробегал эти страницы быстрее — светские подробности его не занимали, но чем дальше, тем интереснее становилось чтение. Фрейлина писала не для публики и не для потомков: она писала для себя, фиксируя то, что помнила, без оглядки на то, как это будет выглядеть в печати.

Имя Гоголя появилось на двадцатой странице — сначала мельком, в ряду других литераторов, потом всё чаще, подробнее, с деталями, которых не содержало ни одно известное жизнеописание. Офицер замедлился, стал делать пометки в блокноте — даты, имена, события, не совпадавшие с официальной биографией писателя. Расхождений набиралось с каждой страницей всё больше.

На сороковой странице Мареев остановился. Абзац, который он перечитал дважды, потом в третий раз — уже не глазами оперативника, а медленно, вникая в каждое слово, как перечитывают приказ о присвоении нового звания, не веря, что прочитанное относится к тебе. Фрейлина описывала встречи, которых не было ни в одной биографии Гоголя, разговоры, которые никто не фиксировал, людей, чьи имена до сих пор не звучали рядом с именем писателя. Капитан от-

ложил карандаш и на несколько секунд замер, глядя на пожелтевший лист, — а потом аккуратно закрыл папку и начал собираться. Кандинский должен был прочесть это сегодня.

Мареев посмотрел на часы — он добрался только до середины текста, но уже понимал: перед ним не мемуары светской дамы, а документ, способный объяснить то, что официальная биография Гоголя объяснить не могла. Теперь рукопись должен был увидеть Кандинский. Не пересказ, не изложение своими словами — а каждую страницу, каждую строчку. Литературовед мог прочесть между строк то, что ускользнуло от оперативника. А что оно ускользнуло — капитан чувствовал наверняка, хотя и не мог пока сформулировать, что именно.

Он взял папку под мышку и пошёл через зал к рабочему столу, где Кандинский с утра сидел над гоголевскими записками, не меняя позы.

Филолог читал медленно, останавливаясь на каждом слове, которое казалось важным, и делал пометки на отдельном листе — не выводы, а вопросы. Почему Гоголь написал именно это? Почему именно так? Что стояло за словами, которые он выбирал? Записки были обрывочными, без дат и адресатов, но в них звучал голос, какого гоголевед не встречал ни в одном из тысяч прочитанных им писем, — голос человека, который говорил только с собой и потому не прятался. Гоголь писал о страхе и сомнениях, о том, что литература может быть не спасением, а ловушкой. Описывал лю-

дей, не называя имён, но с такой точностью, что угадать было несложно. Эти строки принадлежали не сатирику и не про-року — они принадлежали человеку, у которого не осталось масок.

Стул напротив заскрипел. Кандинский поднял глаза и увидел Мареева, который положил серую архивную папку между ними — чуть толще и старше на вид, чем та, что хранила гоголевские листки.

— Подлинник, — сказал капитан, придвигая папку ближе к литературоведу. — Не публиковалось. Посмотрите.

Слова прозвучали буднично, без нажима. Мареев говорил так, как передают очередной рабочий документ, — важный, но в ряду других. Кандинский отложил записки и потянулся к новой папке. На обложке значилось только: «Смирнова-Россет А. О. Воспоминания». Ни грифов секретности, ни пояснительных записок — просто имя женщины, которая больше полутора веков назад решила записать то, что помнила о своей жизни.

Первые страницы гоголевед пролистал быстро — детство мемуаристки, родители, первые впечатления от петербургского света. Обычное начало дворянских воспоминаний, каких он видел десятки. Ничего неожиданного.

Имя Гоголя появилось в середине абзаца о литературных знакомствах, и Кандинский замедлил чтение. Смирнова описывала их первую встречу в Царском Селе летом тридцать первого года — встречу, известную каждому биографу. Но

детали были новыми. Фрейлина упоминала обстоятельства, которые не попадали ни в одни мемуары: как именно было устроено их знакомство, кто стоял за ним, что говорилось не в гостиных на людях, а в разговорах, которых не должно было быть.

Пролистывая страницу за страницей, литературовед замечал, как что-то менялось в самом тексте. Смирнова сначала писала осторожно, с оглядкой, будто ещё не решила, насколько далеко готова зайти. Потом — свободнее, откровеннее, будто перешагнула какой-то внутренний порог. На полях появились приписки, сделанные другими чернилами, — уточнения, которые автор вносила позже, возвращаясь к уже написанному.

На тридцатой странице пальцы Кандинского замерли. Фрейлина описывала сцену, которой не было ни в одном источнике — ни опубликованном, ни архивном, ни мемуарном. Зимний дворец. Спальня. Имена, которые рядом с именем Гоголя не стояли никогда. Слова, произнесённые после близости, из которых следовало, что знакомство молодого малороссиянина с блестящей фрейлиной было не светской случайностью и не капризом, а поручением, отданным в постели тем человеком, чьи поручения не обсуждались.

Кандинский положил страницу на стол, взял следующую, прочитал, вернулся к предыдущей. Движения стали неуверенными — не привычная методичность учёного, а растерянность человека, обнаружившего, что карта, по которой

он шёл двадцать лет, не совпадает с местностью. Всё, что он знал о начале гоголевского пути — Царское Село, дружба с Пушкиным, покровительство Жуковского, светское знакомство со Смирновой, — выглядело теперь иначе. Не цепью счастливых совпадений, а операцией с ясным замыслом и конкретным заказчиком.

Он дочитал абзац до конца и аккуратно положил рукопись на стол — медленно и осторожно, как кладут предмет, который может оказаться и бесценным, и опасным. Лицо его побелело — Мареев, сидевший напротив, заметил перемену раньше, чем литературовед сам её осознал. Капитан не задавал вопросов, просто ждал.

Кандинский молчал. Мареев наблюдал за ним через стол — без любопытства, терпеливо ожидая, пока собеседник переварит прочитанное. Торопить в такие моменты означало получить поверхностную реакцию вместо продуманного ответа.

— Что там? — спросил он наконец негромко, обозначив готовность слушать.

Литературовед поднял глаза — Мареев увидел взгляд человека, который только что понял, что история, которую он изучал двадцать лет, была не ошибочной, а неполной, что в ней отсутствовали куски, без которых целое рассыпалось. Кандинский смотрел на рукопись — на аккуратные строчки, в которых женщина, умершая полтора века назад, рассказывала то, что при жизни доверяла только бумаге, — и не мог

произнести ни слова.

Стоял конец зимы 1831 года. За окнами Зимнего дворца падал снег, но в спальне было тепло — камин догорал, поленья тихо потрескивали, роняя угольки на чугунную решётку. Николай лежал на спине, правая рука заброшена под голову, взгляд устремлён в потолок, где тени от огня играли по лепным розеткам. Дыхание уже выровнялось, но тело сохраняло приятную тяжесть после близости. Александра Осиповна устроилась рядом на боку, положив голову на его плечо, тёмные волосы рассыпались по подушке. Молчание между ними было привычным — не требовало ни слов, ни нежностей, ни объяснений.

Воздух в комнате пах догоревшими поленьями и тёплым воском свечей на каминной полке — воск стекал медленными каплями, образуя причудливые наросты на бронзовых подсвечниках. Малиновый бархат занавесей, задёрнутых плотно, не пропускал ни звука, ни света с набережной, и комната казалась отрезанной от всего дворца — замкнутый мир, где не действовали ни протокол, ни расписание. Стены были обтянуты тёмной тканью, без позолоченных панелей парадных залов, здесь не висело ни портретов предков, ни государственных символов — ничего, что напоминало бы хозяину о его должности.

Мундир Николая лежал на спинке стула — аккуратно накинутый, но не повешенный по форме, золотые эполеты ло-

вили отблески угасающего пламени. Белое платье фрейлины покоилось на подлокотнике низкого дивана, шёлк мягко стекал к полу складками, которые при свете свечей казались живыми. Два предмета одежды по разные стороны комнаты — мундир и платье — рассказывали историю вечера яснее любых слов.

В коридоре за дверью прозвучал и затих размеренный шаг часового. Звук был едва слышным за толстыми стенами и тяжёлой дверью, но император различил его автоматически. Шесть лет на троне приучили его слышать то, чего не замечали другие, — шаги, голоса, скрип половиц, который мог означать и курьера с депешей, и заговорщика с кинжалом. Но сейчас шаги удалились, и тишина вернулась — мягкая, плотная, принадлежащая только им двоим.

Николай повернул голову и посмотрел на Александру Россет. Лицо спокойное, глаза полузакрыты от дремотной неги, губы чуть припухли. Она была из тех женщин, чья красота не нуждалась в драгоценностях и нарядах, и сама Александра Осиповна знала это не хуже, чем знала расстановку сил при дворе.

— Прочёл прелюбопытнейшую вещь, — сказал он негромко, не меняя позы, словно продолжал разговор, начатый про себя. — «Вечер накануне Ивана Купала» в «Отечественных записках». Забавно и дерзко. Мне понравилось. Жуковский принёс мне ещё несколько рукописей того же автора. Малороссиянин какой-то, Гоголь-Яновский. Оказыва-

ется, он очень популярен у нас в салонах, списки ходят по рукам.

— Слышала о нём от Плетнёва, — отозвалась она, не поднимая головы с его плеча. — Жуковский и Пушкин благоволят к нему. Говорят, талант незаурядный, хотя и молод ещё.

Россет провела пальцем по складке простыни — рассеянно, как человек, перебирающий в уме список завтрашних дел. Она знала имена, репутации, связи — всё, что полагалось знать женщине её круга и положения. Но за равнодушным жестом скрывалась привычная настороженность: разговор мог повернуть куда угодно.

Александра Осиповна знала: после близости Николай говорил о двух вещах — о лошадях или о делах. О лошадях он не говорил. Значит, сейчас она услышит имя, и это имя станет её следующим поручением. Она готовилась к этому с того мгновения, как он откинулся на подушку. Близость была прелюдией, разговор — целью.

Николай медленно повернулся на бок, не убирая руки из-под её головы, и посмотрел прямо в её глаза — светлым, холодным взглядом, в котором не осталось и следа недавней нежности. Так он смотрел на тех, в ком переставал видеть людей и начинал видеть фигуры на доске.

— Познакомьтесь с ним поближе, — сказал ровно. — Вы понимаете, что я имею в виду. Поближе.

Последнее слово государь произнёс чуть медленнее, давая ей время осознать услышанное. Не просто светское знаком-

ство, не литературная беседа за чаем. Другое.

Фрейлина встретила его взгляд и не отвела глаз. В лице не промелькнуло ни удивления, ни возмущения — только спокойное, привычное понимание. Когда-то он взял её бесприданницей-сиротой, воспитанницей Екатерининского института, — взял её первым, и она знала, что это не забывается ни той, ни другой стороной. С тех пор он обещал устроить её брак, хороший брак, достойный, — и обещание своё держал, как держат долговую расписку. Она знала цену своего положения при дворе, квартиры в императорском дворце, будущего замужества. Всё это имело свою стоимость, и она готова была платить.

— Понимаю, — сказала Россет тихо, и в голосе не было ни обиды, ни готовности — только давно знакомое согласие.

Николай не кивнул и не добавил ничего. Между ними всё было решено, и оба знали это раньше, чем прозвучало последнее слово. Император закрыл глаза, откинулся на подушку, и Александра Осиповна почувствовала, как рука под её головой расслабилась — разговор закончился, тело вернулось к покою. Но его поручение уже лежало между ними, как ещё одна невидимая вещь в этой комнате, где мундир и платье рассказывали историю вечера, а занавеси не пропускали ни звука с набережной.

Холера выгнала двор из Петербурга в июне, и к разгару лета 1831 года Царское Село сделалось центром империи. Здесь принимали послов, отсюда рассылали указы,

здесь же по вечерам отвлекали придворных от мыслей о болезни, косившей столицу, — балами, концертами, театральными представлениями. Веселье было не столько искренним, сколько необходимым: империя должна была выглядеть сильнее любой заразы.

Большой зал Екатерининского дворца горел тысячью свечей в хрустальных люстрах. Паркет, натёртый до зеркального блеска, отражал каждое движение танцующих золотистыми бликами, а воздух — густой, горячий, несмотря на распахнутые окна, — пах французскими духами, пудрой и нагретым воском. Оркестр играл мазурку с тем безупречным звучанием, что достигается лишь ежевечерней практикой перед публикой, для которой фальшивая нота была бы оскорблением.

Плетнёв стоял у позолоченной колонны, наблюдая за кружением пар. Профессор словесности чувствовал себя на балу почти так же свободно, как в лекционном зале, — Жуковский давно ввёл его в этот круг, и его коренастая фигура в тёмном сюртуке примелькалась при дворе настолько, что на него перестали обращать внимание. Это устраивало Плетнёва как нельзя лучше: он мог стоять у стены и наблюдать, как разворачивается спектакль светской жизни, оставаясь при этом невидимым. На мундирах блестело золото и серебро, дамские платья шелестели дорогими тканями, драгоценности отражали свет свечей, разбрасывая его цветными искрами по стенам, где висели портреты императоров в тяжёлых золочёных рамах.

Среди танцующих выделялась Александра Россет — в белом фрейлинском платье с открытыми плечами, на шее — жемчужное ожерелье, подарок императрицы. Она двигалась с той расчётливой грацией, которая даётся не только природой, но годами при дворе, где каждый шаг на виду и каждый взгляд запоминают. Плетнёв следил за ней краем глаза и думал, что красота в таком обществе — оружие не хуже ума или связей.

Музыка затихла, мазурка завершилась общим поклоном. Дамы раскрыли веера, кавалеры подали им руки, чтобы проводить к креслам у стены. Зал наполнился негромким гулом разговоров. Профессор собрался отойти к окну, где воздух был чуть свежее, но не успел.

Александра Осиповна шла к нему через зал — не прямо, а петляя между группами гостей, останавливаясь на слово то с одним знакомым, то с другим, и её неторопливость была элегантной и изящной поступью женщины, которая имеет право не спешить. Дойдя до колонны, фрейлина остановилась рядом — так близко, что Плетнёв почувствовал запах дорогих духов. Лицо её покраснелось от танца, глаза блестели, веер в руке был полуоткрыт.

— Пётр Александрович, помните, вы рассказывали о Гоголе? — спросила она, и слова прозвучали легко, как говорят между делом о пустяках. — Малороссиянине, который пишет про чертей и галушки?

Плетнёв кивнул. Он действительно упоминал молодого

писателя в разговоре с Жуковским — месяц назад, в Петербурге, когда ещё не знали о холере. Говорил о таланте, о перспективах, о том, что повесть молодого автора, опубликованная в «Отечественных записках», произвела впечатление на публику. Но не думал, что его слова запомнились, тем более — дошли до фрейлин.

Россет рассмеялась — коротко, легко, как смеются над собственной шуткой.

— Доставьте мне этого хохла, — сказала она. — Я сама из Малороссии. Хочу послушать, что он расскажет о родине.

«Доставьте» — не «познакомьте», не «представьте». Плетнёв отметил слово, не придав ему значения — фрейлина говорила тоном, которым просят передать поклон или узнать время следующего танца, и профессор привык не слышать в подобных просьбах больше, чем в них вкладывали. Он считал себя человеком, который открывает двери, — не более.

— Конечно, — сказал он. — Передам ваше приглашение.

— Прекрасно, — Россет сложила веер одним быстрым движением и обратилась в сторону оркестра, уже не глядя на собеседника. — Буду вам благодарна.

Фрейлина развернулась и пошла обратно в зал, где молодой гвардейский офицер уже протягивал ей руку для следующего танца. Плетнёв остался у колонны, глядя, как белое платье исчезает среди кружащихся пар. Оркестр заиграл польку. Завтра он напишет Гоголю. Послезавтра молодой ма-

лороссиянин узнает о приглашении в Царское Село. Обычное дело — профессор сводил людей по три раза на неделе и никогда не считал нужным спрашивать зачем.

Кандинский поднял глаза от рукописи. Пальцы всё ещё лежали на последней странице — той, где Смирнова-Россет описывала разговор на балу в Царском Селе. Литературовед взял стопку листов и задумчиво выровнял края — тщательно, как человек, которому нужно занять руки, пока мысли приходят в порядок.

Приказание «доставить хохла» — не каприз фрейлины. Не случайное знакомство на придворном балу. Мареев сидел напротив, и Николай чувствовал на себе его ожидающий взгляд, но ещё не мог заговорить. Слова, прозвучавшие в зимней спальне — «познакомьтесь поближе», и в царско-сельском бальном зале — «доставьте мне этого хохла», сомкнулись в голове Кандинского, как две половины одного замка. Всё, что он знал о начале гоголевского пути, — Царское Село, дружба с Пушкиным, покровительство Жуковского, светское знакомство с черноокой Россет — было не цепью счастливых совпадений. Это была операция. По поручению императора.

Кандинский положил выровненную стопку на стол перед собой и посмотрел на Мареева. Несколько секунд он молчал — и именно эти паузы, как знали все, кто работал с ним, выдавали его сильнее любых слов.

— Приказание «доставить хохла», — сказал он негромко, — не каприз фрейлины.

Мареев не двигался. Ждал.

— Это операция, — продолжил гоголевед, и голос его окреп, — которая началась в спальне Зимнего дворца. И была передана через Плетнёва, как передают служебную записку через курьера.

Капитан чуть подался вперёд — едва заметно, но Кандинский уловил движение. Оперативник слушал уже не как человек, контролирующий ход проекта, а как человек, узнающий знакомый механизм.

— Цепочка простая, — Кандинский положил ладонь на рукопись Смирновой. — Император — фрейлина — профессор — писатель. Каждое звено выполняло свою функцию. Плетнёв считал, что оказывает покровительство таланту. Гоголь думал, что удостоился внимания благодаря литературным заслугам. Весь замысел знал только тот, кто в спальне Зимнего дворца и произнёс слово «поближе».

Кандинский убрал руку с рукописи и замолчал — так замолкают, когда сказано всё, что нужно было сказать. Очередь была за Мареевым.

Капитан молчал — секунду, другую. Потом открыл ноутбук и набрал в поисковой строке архивной базы три слова. Развернул экран к Кандинскому.

— Если это операция, — сказал он, — должен быть рапорт. Бенкендорф без бумаги не делал ничего.

И такой рапорт был.

На экране светился результат поиска: одна запись, датированная летом 1831 года.

Глава 6. Белая ночь

Кандинский взял первый листок из стопки бережно, как берут письма, адресат которых давно в земле, — не потому, что бумага могла рассыпаться, а потому, что написанное на ней заслуживало тишины. Жёлтый лист лёг меж пальцев невесомо, но от него шло тепло — как от вещей, которые долго держали в руках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.